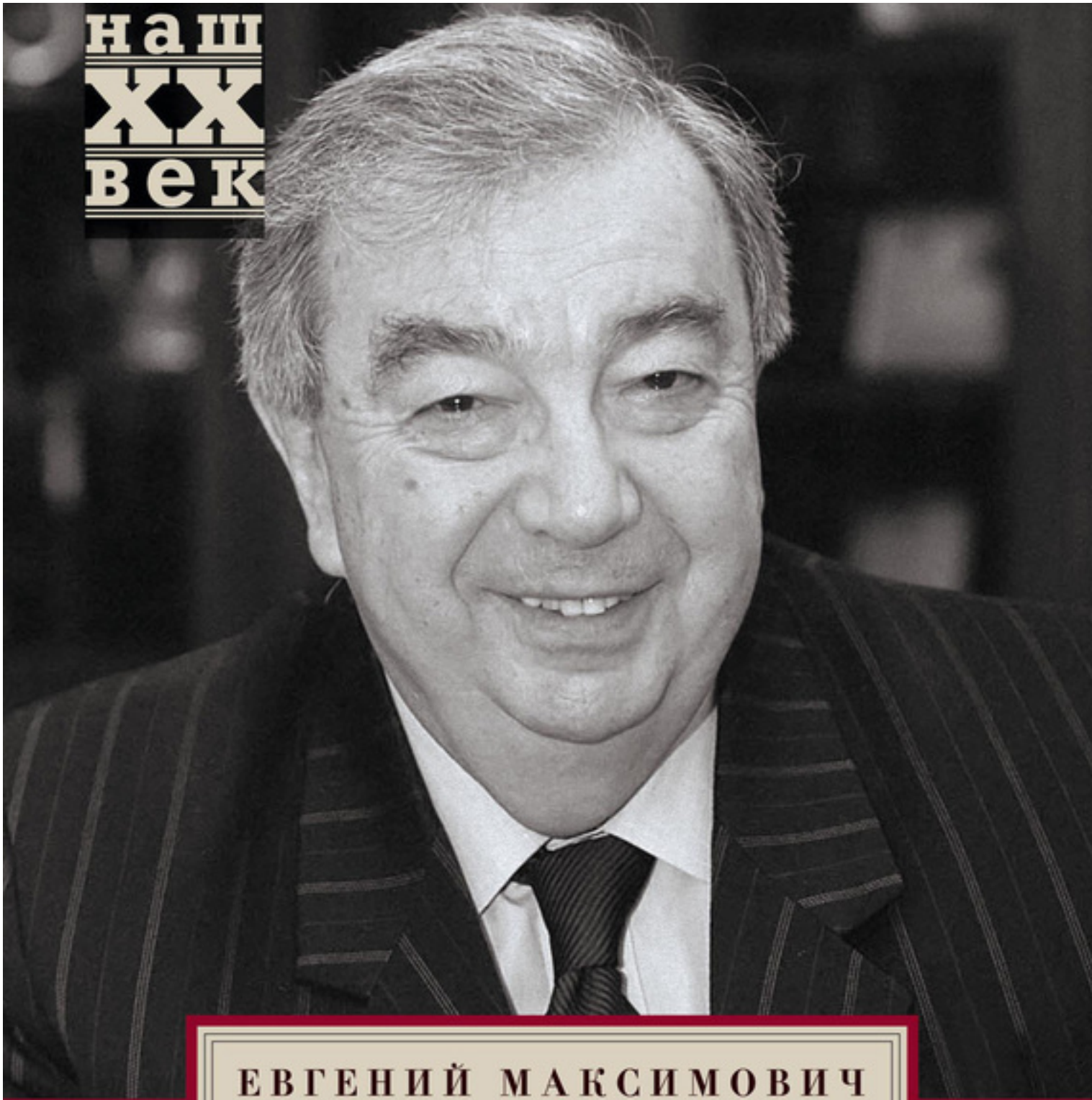


Наш  
XX  
век



ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ

ПРИМАКОВ



ВСТРЕЧИ  
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

Наш XX век

Евгений Примаков

# **Встречи на перекрестках**

«Центрполиграф»

2015

## **Примаков Е. М.**

Встречи на перекрестках / Е. М. Примаков — «Центрполиграф»,  
2015 — (Наш XX век)

Евгений Примаков по роду своей деятельности был одним из самых секретных людей страны. Он начинал как журналист, был директором Института мировой экономики и международных отношений, который во времена СССР готовил закрытые доклады для руководства страны. На переломе эпохи от тоталитаризма к демократии был «брошен» М. Горбачевым и Б. Ельциным на Службу внешней разведки, а после – в Министерство иностранных дел. На должности премьер-министра был призван спасти страну после дефолта 1998 года. Все изложенное в этой книге Примаков пропустил через призму личного восприятия, заранее зная и не опасаясь того, что не все сказанное будет принято читателями.

© Примаков Е. М., 2015

© Центрполиграф, 2015

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Предисловие                              | 5  |
| Ведомый судьбой                          | 6  |
| Диссиденты в системе                     | 18 |
| Трудное избавление от идеологических пут | 18 |
| Сталин извратил Ленина?                  | 18 |
| В эпицентре – ИМЭМО                      | 20 |
| Против «кривых зеркал»                   | 24 |
| Международные отношения: что за кадром   | 29 |
| Отказ от догм в контактах с США          | 35 |
| Индийская и китайская «карты»?           | 39 |
| Превратности судьбы                      | 41 |
| Конец ознакомительного фрагмента.        | 43 |

# Евгений Максимович Примаков

## Встречи на перекрестках

*Родным и друзьям – ушедшим и живым – посвящается эта книга*

### Предисловие

Книга не задумывалась как автобиография, так как я был далек от того, чтобы сделать ее автора неким героем повествования. Тем не менее – никуда не денешься – я был участником многих из описываемых событий и пропускал их через свое видение. Эта книга – и не историческое исследование, хотя в ней рассмотрены события и процессы, без оценки которых невозможно понять историю России конца второго тысячелетия вплоть до нынешнего времени.

В этой книге я хотел показать многослойность российской политической и общественной жизни.

Пусть читатель рассудит, кто был прав, а кто нет в сложных перипетиях, через которые проходила Россия на пороге XXI столетия.

Думаю, что актуальность целого ряда проблем, поднятых в книге, не притупилась. Буду рад, если она окажется полезной. И если у моей книги появятся те, кто ее критикуют, то я внимательно вдумаясь в эту критику.

Не сомневаюсь, что содержанию книги в наибольшей степени отвечает ее название «Встречи на перекрестках» – встречи с событиями, людьми, судьбой не на ровной дороге, а на перекрестках долгой жизни.

## Ведомый судьбой

Меня по жизни вела судьба, не только предопределяя тот или иной сдвиг, поворот, переход в другое качество, но отводя в сторону от различных капканов и западней. Вспоминая свое прошлое, особенно детство и юность, убеждаюсь в этом все больше. Как писал Сергей Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии».

Верю ли в божественное предначертание? Думаю, что существует Высшее начало у жизни. Высший интеллект, Высшая справедливость. Уверен, что тем, кто приносит добро, зачтется. Тому, кто поступает худо, жизнь отомстит.

Тбилиси, 1937 год. Вокруг повалились практически все, с кем моя мама – Примакова Анна Яковлевна, врач по специальности, – дружила, встречалась, водила знакомство. Маминного брата, тоже врача-гинеколога, арестовали в Баку и, как стало известно позже, этапировали в Тбилиси, где расстреляли. Он был далек от политики. Мне стало известно через много лет, что главным «вещественным доказательством» его принадлежности к «антисоветской группе» был найденный при обыске юнкерский кортик – Александр Яковлевич несколько месяцев перед революцией был в юнкерах.

У мамы было много братьев и сестер, но все они, за исключением Александра Яковлевича и моей любимой тети Фани, умерли – один брат погиб в Русско-японскую войну, другой, вернувшись с фронта, умер от чахотки. Моя тетка стала женой известного доктора Д.А. Киршенבלата. Профессор, получивший степень в Берлинском университете, он был блестящим терапевтом – любимцем всего Тбилиси. У него было трое сыновей – двое старших от рано умершей жены. Один из них – Миша, тоже врач и пламенный большевик, – был директором Тбилисского института скорой помощи, одной из крупных больниц в городе. Однажды из Еревана привезли тело первого секретаря ЦК компартии Армении Ханджяна. От Михаила Давидовича потребовали дать заключение о самоубийстве. Он гневно отверг это предложение и был арестован, а затем расстрелян.

В гулкие тбилисские ночи шуршали шины автомобиля, останавливающегося у того или иного дома. Ленинградская улица, на которой мы жили, небольшая – длиной метров сто пятьдесят, всего 13 домов. Поэтому все трагедии происходили на глазах у всех. В доме номер 5 жил Лева Кулиджанов, ставший впоследствии большим кинорежиссером. Его кинофильмы «Дом, в котором я живу», «Когда деревья были большими», экранизация Достоевского вошли в классический фонд советского кино. А тогда, в 1937 году, мы – пацаны (он был старше нас на пять лет толпились под его окном в бельэтаже. Ходили слухи (конечно, лишь слухи), что его мама при аресте отстреливалась. Из какого пистолета – нас интересовал главным образом этот вопрос, – из браунинга? «Что-то вроде этого», – отвечал уже не в первый раз Лева.

Я у матери единственный. Она родила меня уже в возрасте и жила мною. Трудно представить, как переломилась бы моя судьба, если бы ее арестовали.

Как я реагировал на происходившее? Некоторые представители моего поколения уверяют, что даже в «щенячьем возрасте» всё понимали. Я не принадлежал к числу «ясновидящих». Когда услышал, что арестовали заместителя председателя Совнаркома Грузии Илюшина, с женой которого мама сначала встречалась как с пациенткой, а потом сдружилась, взял ножницы и изрезал на мелкие куски кожаную кобуру и портупею, которую он мне подарил в день рождения.

Но все-таки маму косвенно задел трагический тридцать седьмой. Она работала в Железнодорожной больнице и была, как говорили, превосходным акушером-гинекологом. Но ее оттуда попросили, и она не без труда нашла работу в женской консультации Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. Оставалась там единственным врачом непрерывно тридцать пять лет. Комбинат находился далеко от центра города, а во время войны мама еще взяла и

вторую работу – в другом конце Тбилиси. Приходила домой вечером, изнуренная до предела. Она очень много работала ради того, чтобы я был накормлен и одет в то нелегкое для всех военное время.

Мама была далека от политики, никогда не состояла ни в каких партиях, не произносила зажигательных речей, не любила даже поддерживать разговор на политические темы. Но это вовсе не означало ее политической инфантильности.

Однако такой разговор с матерью был исключением. У нее, я уверен, был богатый внутренний мир, но именно внутренний. Она не делилась им ни с кем, в том числе со мной. Может быть, оберегала меня. Думаю даже, что не только оберегала, так как при всех своих сомнениях и неприязни ко многому происходившему страну любила однозначно и вне всякого сомнения. Она считалась с моим внутренним настроем. Во всяком случае, была довольна, когда я стал комсомольцем, а потом и членом партии.

Ее любили работницы, уважали и побаивались руководители комбината – она не стеснялась в выражениях, если беременных женщин не отпускали в положенный отпуск или ставили в третью смену. Я узнал обо всем этом из прощальных слов на похоронах матери 19 декабря 1972 года – в последний путь ее провожал почти весь Тбилисский прядельно-трикотажный комбинат.

Жили мы в общей квартире без элементарных удобств, в четырнадцатиметровой комнате. Целыми днями я с ребятами пропадал на улице. Закончив семь классов, объявил не на шутку встревоженной матери: «Еду с друзьями поступать в Бакинское военно-морское подготовительное училище». На робкое мамино «может быть, передумаешь, ведь в Тбилиси есть Нахимовское училище» последовал ответ: «Я так решил. А Нахимовское училище подчиняется Наркомпросу, а не Министерству обороны. У них даже вместо ленточек на бескозырках куцый бант».

Сейчас, когда представляю себе во всей красе безапелляционность тогдашних своих поступков и при этом без стремления понять маму, становится грустно.

Учился я хорошо, больше всего любил математику, историю, литературу. Преподаватели в русских общеобразовательных школах в Тбилиси были очень сильные. Им, особенно моей доброй первой учительнице Ольге Вакуловне Прихня, математику – блестящему педагогу Пармену Засимовичу Кукаве, да и другим премного обязан. Выпускники тбилисских школ абсолютно на равных и в то время без всякого блата выдерживали конкурсные экзамены в престижные московские институты. Среди них был и я, поступив в 1948 году в Московский институт востоковедения. Но об этом позже.

В военные годы, однако, ученики в школе далеко не все время отдавали учебе. В вечернюю третью смену не раз гасла лампочка (как правило, в классе она была одна). Секрет был прост – вкрученная нами в патрон с мокрой промокашкой лампочка переставала светить, как только промокашка высыхала. Урок прекращался, а нам было куда пойти. В кинотеатрах крутили кинофильмы – мы знали их наизусть, особенно киносборники, составленные в том числе из фронтовых лент. А песню, которую прекрасно исполняла Окуневская, со словами:

Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня.  
Помнишь, как ярко вспыхивал яростный луч огня...  
Пламя гнева горит в груди.  
Пламя гнева, в поход нас веди.  
В бой, славяне, – заря впереди... —

пели на тбилисских улицах и русские, и грузины, и армяне, и евреи. Таким был Тбилиси. Может быть, мама внутренне согласилась на мое поступление в Бакинское училище еще и потому, что не успела остыть от пережитого. Я и трое моих друзей решили отомстить

завучу Раисе Павловне, которая, по нашему мнению, совершила величайшую несправедливость, поставив многим двойки, «чтобы неповадно было шуметь на уроке». «Возмущенные», мы выбили стекла в окне ее дома. На следующий день были разоблачены – оказывается, нас видели прохаживающимися вечером около злополучного окна. Мы, как полагается, сначала осмотрели местность, а потом приступили к исполнению. Вызвали родителей. Мама редко бывала в школе, но по вызову явилась сразу – Раиса Павловна училась с ней в одной гимназии. У меня горело лицо от впервые полученной маминой пощечины. Мы с ребятами решили бежать на фронт, но нас поймали на вокзале. Всех четверых исключили из школы, и по разрешению городского отдела народного образования мы сдавали экзамены уже в другой школе.

После занятий мы, как правило, дефилировали по Плехановской – такое название проспекту дал Ной Жордания, когда в Грузии было меньшевистское правительство. Мало улиц носило имя Плеханова в Советском Союзе, и очень жаль, что в независимой Грузии ее переименовали – теперь она называется именем царя Давида Агмашенебели, что по-русски означает Давид-строитель.

Время было беспокойное. В городе распоясались уголовники, многие из которых «эвакуировались» в Тбилиси из Одессы и Ростова, но полно было и местных воров. Криминал захлестнул улицы, но никто из нашей компании не соскользнул на преступную дорожку.

В Баку поехали целой компанией – я, братья-боксеры Сергей и Жора Квелидзе, Толя Бажора. Все, кроме меня, вернулись домой через несколько месяцев. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года, прошел практику на учебном корабле «Правда» и, когда уже казалось, что все трудности адаптации позади, был отчислен по состоянию здоровья – обнаружили начальную стадию туберкулеза легких. Тут же примчалась в Баку моя дорогая мама, а я меньше всего думал о здоровье. В вагоне поезда Баку – Тбилиси стоял у окна, мимо проносились столбы, деревья, здания какие-то, а я ничего не видел. Глаза застилали слезы. В течение двух лет связывал свое будущее с флотом, а тут... Жизнь, считал, окончена.

Вспоминаю: был приглашен на семидесятипятилетие адмирала флота Чернавина, с которым мы вместе учились в БВМПУ. «А ведь мог тоже стать адмиралом», – бросил он в шутку. Я же никогда не шутил, когда касались этой темы. Через многие годы после моего окончания БВМПУ М.С. Горбачев, назначая меня руководителем внешней разведки, готовился подписать указ о присвоении мне звания генерал-полковника. Я отказался, сказав, что присвоение сразу этого звания мне, пришедшему со стороны, создаст ненужное напряжение с коллегами. Добавил, что, если стану генералом, все забудут, что я академик – к этому времени уже был действительным членом Академии наук Советского Союза. Моя жена Ирина Борисовна заметила: «А ведь если бы предложили адмирала, отказаться у тебя не было бы сил».

Приехав в Тбилиси, мамиными заботами вылечился и закончил одиннадцатый класс в 14-й мужской средней школе – тогда в Тбилиси было одиннадцатиклассное образование и раздельное обучение. Куда поступать? Решил держать экзамены в Московский институт востоковедения. Может быть, повлияло то, что туда нацелился мой друг Сурен Широян. Но сознаюсь, я не был одержим поступлением именно в этот вуз. Вообще я хотел вначале пойти на математический, но в физике был слаб, а мама умоляла: куда угодно поступай, но прошу – не в медицинский. Да я в него и не стремился.

Приехали в Москву. Хорошо сдали вступительные экзамены. В тот год была потребность в специалистах по Китаю. Не исключая, что поддался бы на уговоры и выбрал бы китайское направление, но задели на собеседовании слова профессора Евгения Александровича Беляева: «Вы, должно быть, решили пойти на арабский, так как вам мерещатся караваны в пустыне, миражи, заунывные голоса муэдзинов?» И я ответил: прошу зачислить на арабский – баллов для этого у меня достаточно. Так стал арабистом.

В институте больше всего любил страноведческие и общеобразовательные предметы. Блестящие лекции по исламоведению профессора Беляева, по различным разделам истории



– профессоров Турка, Шмидта, по политэкономии – профессора Брегеля были настоящими праздниками. Но гораздо меньше интереса я проявлял, к сожалению, к арабскому языку, что и сказалось: по всем предметам, кроме арабского, в дипломе были пятерки, а на госэкзамене по арабскому получил три<sup>1</sup>.

Принимала экзамен чудесный преподаватель и исключительно хороший человек – палестинская христианка Клавдия Викторовна Одэ-Васильева. Она приехала в Россию перед Первой мировой войной, вышла замуж за русского врача Васильева, который погиб на фронте. После этого всю свою жизнь посвятила преподаванию. Ассистировали ей на выпускных экзаменах Беляев и Шмидт. Отвечал я хорошо, просто сумел сосредоточиться. На вопрос Клавдии Викторовны – какую отметку поставить – ассистенты сказали «пять». Это меня и погубило. «Как «пять»?!» – возмутилась Клавдия Викторовна. – Он часто пропускал занятия. Три». С тройками в дипломе тогда не давали рекомендации в аспирантуру, а я очень хотел продолжить в ней учебу и уже выбрал для этого экономический факультет МГУ. Но что поделаешь – значит, не всегда мечты не сбываются.

Вдруг неожиданно встречаю в институтском коридоре Клавдию Викторовну. «Как ты относишься к поставленной тебе тройке?» – спрашивает она. «Я большего и не заслуживаю, это справедливая отметка», – ответил я. После этих слов Клавдия Викторовна пошла к директору института и настояла на том, чтобы я все-таки получил рекомендацию в аспирантуру, пригрозив, что в случае отказа пойдет «на самый верх».

Заканчивали мы институт в 1953 году. В марте умер И.В. Сталин. Нас захлестнуло горе. На траурном митинге плакали многие. Выступавшие искренне недоумевали – сумеем ли жить без Сталина, не раздавят ли нас враги, уцелеем ли? Я чуть не поплатился жизнью, когда пытался через Трубную площадь пробиться к Колонному залу Дома союзов, чтобы проститься с вождем. Была настоящая Ходынка, в страшной давке погибли десятки людей. Нас возмутили услышанные по радио абсолютно спокойные голоса Маленкова и Берии, выступавших с трибуны Мавзолея на похоронах Сталина. Наши симпатии были на стороне третьего выступавшего – Молотова, который еле сдерживал рыдания.

Те, кто считает, что со смертью Сталина сразу прорвалась плотина и резко изменилось сознание всех граждан Советского Союза, глубоко ошибаются. Процесс зародился, потом, как говорится, пошел, но постепенно. И в этом была своя закономерность. Большинство моих соотечественников, и я среди них, понимало, что при всех трудностях, иногда даже перераставших в трагедии, было немало хорошего в жизни страны, народа.

Справедливый акцент на негативных, трагических сторонах нашей истории был сделан XX съездом партии, в речи Хрущева, которую не опубликовали, а зачитывали на собраниях коммунистов и комсомольцев. Для многих это прозвучало как гром среди ясного неба. Реакция большинства выражалась в возмущении по поводу скрытых от народа сторон жизни партии, страны и, естественно, в мучительном переосмыслении далеко, как оказалось, не однозначной роли Сталина. Но в разговорах между собой мы нередко отдавали должное более сбалансированному документу китайской компартии о культе личности, хотя понимали, что на характер этого документа повлияло желание обойти критикой свой «культ» – Мао Цзэдуна.

Но так или иначе, XX съезд нас раскрепостил и оказал сильное влияние на формирование мировоззрения моего поколения. Конечно, впоследствии решающее воздействие оказывали и другие события, но первым импульсом, заставившим мыслить по-иному, чем в прошлом, можно считать XX съезд партии.

---

<sup>1</sup> В результате плохого знания арабского языка переговоры на встречах с арабами, о которых пойдет речь в этой книге, велись на английском или с помощью переводчиков. Самым, пожалуй, выдающимся из них был Сергей Кирпиченко, в дальнейшем посол в ряде арабских стран. (Здесь и далее прием. авт.)

«Съездовское» время застало меня в аспирантуре Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Три года, проведенные в ней, прошли в упорной работе. Аспирантура экономфака МГУ давала очень многое: отличную теоретическую подготовку, учила работе с источниками, аналитическому осмыслению происходящего. Конечно, были там и профессора-догматики, да где их в то время не было. Но что самое главное – общая обстановка в аспирантуре подталкивала к самостоятельному мышлению.

Мы прошли в аспирантуре МГУ хорошую марксистскую школу. Позже многие из нас (и я в том числе), не порывая с марксизмом, стали отходить от представлений о нем как о единственной науке, чуть ли не религии. Мы были хорошо теоретически подкованы и имели все основания считать, что нельзя «с водой выплескивать ребенка». Конечно, марксистские постулаты не могут применяться вне времени и пространства, но этот вывод ни в коей мере не относится к марксистской методологии, которая имеет историческую ценность.

Коллектив аспирантов был очень дружный. Ходили все вместе в театр, совершали вылазки на природу. Дружба с некоторыми из них, в первую очередь со Степаном Арамаисовичем Ситаряном, прошла через всю жизнь. Выдающийся профессионал, он стал в 1980-х годах заместителем председателя Госплана, а затем зампредом Совета министров СССР.

Большинство аспирантов были иногородними, но и москвичи проводили все время с нами, а часто и заночевывали в нашем общежитии МГУ, в высотном здании на Ленинских горах – мы стали первыми его «поселенцами». Моим соседом по блоку (две шестиметровые комнаты с общими «удобствами» был китайский аспирант Чжу Пэйсинь – скромный, деликатный, трудолюбивый, он занимался с раннего утра и до ночи, – умный парень. В одном блоке со Степаном Ситаряном жил кореец Чен, приехавший на учебу в Москву чуть ли не прямо с фронта корейской войны, не повидавшись даже с семьей.

Мы были все в одной компании, не отгораживались от «несоветских» и тогда, когда бурно обсуждали перипетии нашей действительности. Они, как правило, не участвовали в разговорах такого рода, но буквально впитывали их в себя. Это обернулось трагически. Чжу Пэйсинь после возвращения в Китай провел много лет в деревне, куда был послан «на исправление», – как он мне рассказал позже при встрече в Китае, голодал, с рассвета и до темноты занимался тяжелым физическим трудом, но, слава богу, выжил и после осуждения в Китае «культурной революции» вернулся в Пекин, где впоследствии стал профессором университета. Приехав в КНР в 1995 году, я попросил моих коллег (тогда я работал в СВР) найти Чжу. Мы сорок лет не виделись с ним. Обнялись и долго стояли так – не хотели, чтобы окружающие видели наши слезы. Чжу уже почти забыл русский. Объяснялись по-английски, вспоминая молодость. Это была грустная встреча, больше я с ним не виделся.

А судьба корейца Чена, судя по всему, сложилась трагически. Степан Ситарян узнал через несколько лет, что он после возвращения домой выступил на партсобрании с критикой культа личности Ким Ир Сена. После этого его никто не видел...

С нами вместе часто находилась, активно участвуя во всех разговорах, моя жена Лаура. Женился я на Лауре Харадзе будучи студентом третьего курса. Она была тоже студенткой, училась на втором курсе Грузинского политехнического института. После замужества перевелась в Москву, в Менделеевский институт на электрохимический факультет. В наше время многие ранние браки распадаются. Я прожил с Лаурой тридцать шесть лет. Вначале нам вместе было очень нелегко. Свое собственное первое жилье, комнату в общей квартире, я получил в 1959 году, уже работая в Гостелерадио. Это было для нас настоящим счастьем: все годы до этого снимали, если повезет – комнату, если нет – угол. Особенно тяжело стало, когда в 1954 году родился сын, – многие хозяйки предпочитали сдавать жилье семьям без детей, и поиски места проживания становились настоящей мукой.

Мы вынуждены были отправить девятимесячного Сашеньку в Тбилиси, где до двух с половиной лет он жил у моей мамы. Когда позвонил ей по телефону и сказал, что у нас нет

выхода, кроме как послать сына на время к ней, у нее вырвалось: «Но ведь я работаю». За этим последовала мамина телеграмма: «Немедленно привози ребенка, я все устрою».

В мои аспирантские времена Лаура разрывалась между учебой в институте и поездками в Тбилиси, а будучи в Москве, тайно жила в моей аспирантской комнате в МГУ. Мой сосед по блоку Чжу Пэйсинь ни разу меня не упрекнул, никто не заложил. Всех связывало чувство товарищества.

Жили мы в зоне «Б» на четвертом этаже. Почему-то именно этот этаж был выделен администрацией университета в качестве показательного. Всех высоких гостей приводили к нам. Были у нас и Неру, и Тито, который в 1955 году, после долгой ссоры со Сталиным, был приглашен в Советский Союз. Мы собрались в зале нашего этажа. Тито поздоровался с нами, а потом начал внимательно слушать разъяснения министра высшего образования Елютина. «А как используется этот зал?» – спросил Тито. «Для коллективных мероприятий, например самодеятельности», – отвечал Елютин. «А это тоже самодеятельность?» Тито указал пальцем на висевшую на стене картину, изображающую Ленина и Сталина, которые сидели рядом на скамейке в Горках, где, как известно, больной Ленин, у которого в то время были неприязненные отношения со Сталиным, провел последние годы жизни.

Через много-много лет, уже после смерти Тито, я был в Белграде, в его доме. По моей просьбе меня повели туда югославские друзья. Каково было мое удивление, когда на книжной полке я увидел фотографию Сталина. Что это – всеядность человека, который бережно хранил фотографии своего врага, или дань уважения к противнику?

Закончил аспирантуру, подготовив диссертацию на тему о получении максимальных прибылей иностранными нефтяными компаниями, оперирующими на Аравийском полуострове. Работая над диссертацией, знакомился в том числе и с технической литературой по нефти – это мне пригодилось в будущем. Но защитить диссертацию до окончания срока аспирантуры не смог. Тогда требовалась перед защитой публикация на диссертационную тему, издал небольшую монографию «Страны Аравии и колониализм», но вместе с тем исключалась защита в той организации, в которой подготовил диссертацию. Это положение ввели незадолго до окончания срока моего пребывания в аспирантуре, и я не мог себе позволить длительную, без работы, паузу, необходимую для вторичного обсуждения диссертации и выполнения по ней всех формальностей в другом учебном или исследовательском учреждении. В результате начал подыскивать себе место преподавателя политэкономии. Знал, что во многих городах Союза есть хорошие вузы, там, думал, и защишусь. Но судьба распорядилась и на этот раз иначе.

Сергей Николаевич Каверин – главный редактор арабской редакции иновещания, с которым познакомился, так как время от времени писал в его редакцию, чтобы подзаработать, предложил поступить к нему. Так я стал профессиональным журналистом. За год последовательно прошел путь корреспондента, выпускающего редактора, ответственного редактора, заместителя главного редактора. После безвременной кончины Сергея Николаевича на должность главного назначили Андрея Васильевича Швакова – фронтовика-белоруса, очень честного, порядочного человека. Я был у него заместителем. Потом с его подачи (!) сделали рокировку: он стал заместителем, а я главным. Мы с ним дружили многие годы, вплоть до его смерти.

Работа на иновещании дала очень многое. Прежде всего – умение быстро и при любом шуме подготовить комментарий на происходящие события. Вместе с тем для меня это была первая школа руководителя. В свои двадцать шесть лет я возглавил коллектив в семьдесят человек, среди которых, пожалуй, был самым молодым.

В 1958 году я удостоился чести в качестве корреспондента Всесоюзного радио сопровождать Н.С. Хрущева, Н.А. Мухитдинова, маршала Р.Я. Малиновского и других членов партийно-правительственной делегации в Албанию. Кто предложил послать именно меня, не знаю. Может быть, «наверху» кто-то решил, что Албания – арабская страна. Ну а если не араб-

ская, то все-таки «мусульманская». Командировка эта запомнилась на всю жизнь. Увидел Хрущева вблизи, и это было очень любопытно.

Он умел в резкой форме заявлять о своей позиции, но и знал, как самортизировать недовольство собеседников, если хотел их расположить к себе. Не всегда, правда, это удавалось. Выслушав на аэродроме приветственную речь Энвера Ходжи – первого секретаря компартии Албании, которая изобиловала антиюгославскими выпадами, Хрущев при первой же встрече с Ходжой в присутствии журналистов сказал ему: «Я не хочу, чтобы вы превращали мой визит в антиюгославскую кампанию (шел процесс примирения с Тито), – и тут же добавил: – Мы с вами – настоящие ленинцы и можем постоять за чистоту марксизма-ленинизма в других формах».

Хрущеву не понравилась программа пребывания в Албании – «мало встреч с людьми», и он потребовал ее откорректировать уже во время визита. Албанцы подавили в себе возмущение и с этим тоже смирились. Без всякой дипломатии Хрущев гнул свою линию. «А это зачем?» – спросил он, ткнув указательным пальцем в скульптуру Сталина у входа в текстильный комбинат, построенный Советским Союзом. Молча выслушал разъяснения сопровождавшего его премьер-министра Мехмета Шеху: «Сталина чтут в Албании, так как он направил ультиматум Тито, когда тот уже был готов силой присоединить ее к Югославии, – мы с автоматами в руках ждали нападения. С его именем связано и строительство нашего промышленного первенца-комбината, которым мы гордимся». – «А чего гордиться? – сказал Хрущев. – Построили-то вам комбинат уже устаревший – в один этаж. За границей давно уже строят многоэтажные производственные здания».

В своей главной часовой речи, произнесенной на митинге без заранее подготовленного текста, Хрущев заявил: «Если США поставят свои ракеты в Греции и Италии, то мы разместим свои в Албании и Болгарии». Мне показалось, что албанцы были ошеломлены, но довольны, так как нуждались в гарантиях, и, таким образом, могли надеяться их получить. Одновременно прозвучало предложение Хрущева превратить Средиземноморье в зону мира.

В этой же речи он неожиданно выразил соболезнования Соединенным Штатам по поводу кончины Джона Фостера Даллеса – Государственного секретаря, известного своей, мягко говоря, антисоветской позицией. Это не помешало Никите Сергеевичу заявить, что в последние годы своей жизни Даллес изменился. Словом, в выступлении было много новых моментов – хоть отбавляй.

С этой речью была связана острая коллизия и для меня. К моменту ее произнесения уже было ясно, что Хрущев будет все время выступать без текста, а его речи – стенографироваться, затем редактироваться двумя помощниками – Шуйским и Лебедевым и лишь после одобрения Хрущевым окончательного текста передаваться в ТАСС. На всю эту процедуру требовалось много часов. Албанцам сказали сразу, что они могут публиковать выступление Хрущева только по ТАССу. Они справедливо обиделись и по радио Тираны нарочито передавали: «Как сообщает ТАСС, выступая в Тиране, Н.С. Хрущев сказал то-то и то-то».

Или по неопытности, или потому, что ответственность за выполнение порученной мне столь важной миссии – освещать по радио визит советского лидера в Албанию – отодвинула на задний план все формальные моменты, я решил вторгнуться в «святая святых» – в порядок опубликования выступлений генерального секретаря. Подошел к его помощникам и сказал: «Разрешите мне готовить для передачи на московское радио изложение основных идей, высказываемых Никитой Сергеевичем. Я буду, конечно, показывать вам, а потом срочно сообщать все в редакцию, иначе я не очень понимаю, для чего я здесь нужен – только для того, чтобы передавать «антураж»?» – «Если ты такой смелый, – сказал Шуйский, – пиши и передавай под свою ответственность». Я это и сделал. Выдвинув главные идеи речи Хрущева на первый план, продиктовал корреспонденцию по телефону нашим стенографисткам в Москве, а сам, довольный собой, пошел пить пиво. Вдруг подходит ко мне корреспондент «Правды» Ткаченко, с которым у нас потом установились дружеские отношения, и говорит: «Иду из резиденции, там

переполюх, речь Хрущева решили не публиковать, но она улетучилась, и сейчас пошли на нее отклики во всем мире. Ищут, кто виноват в утечке». У меня сердце ушло в пятки. Я представил себе, как меня срочно отзывают в Москву, исключают из партии, снимают с работы. Кстати, все тогда так и могло получиться. Увидев мое побелевшее лицо, Ткаченко ухмыльнулся: «Я пошутил. Напротив, Никите показали зарубежные отклики, и он очень доволен оперативностью». Очевидно, все было именно так, потому что я с этого момента спокойно передавал свои корреспонденции в Москву и ни Шуйский, ни Лебедев мне не делали никаких замечаний. Правда, и не хвалили, просто не замечали.

На иновещании прошла реорганизация, укрупнили редакции, и меня повысили, назначив заместителем главного редактора редакции информации на все зарубежные страны. Все вроде шло хорошо. О диссертации даже перестал думать, но после моего выступления на одном из круглых столов (не помню уже, на какую тему я выступал) ко мне подошел грузный, седой мужчина и представился: Ростислав Александрович Ульяновский, заместитель директора Института востоковедения Академии наук. Расспросив меня о моей работе, интересах, в том числе о том, думаю ли я написать диссертацию, и услышав в ответ, что она готова и ждет защиты, Ульяновский предложил мне защищаться в его институте. Это предложение было повторено мне по телефону. Не было бы этой встречи, не знаю – защитил бы я когда-нибудь кандидатскую диссертацию, а ведь это открыло мне дорогу в науку, в академическую жизнь. Опять судьба?

По-видимому, работал бы на иновещании еще многие годы, но весьма «осяземо» почувствовал скверное отношение ко мне заведующего сектором ЦК – он занимался радио. Возможно, ему не понравилось мое выступление на партсобрании, возможно, существовали какие-то другие причины, но в течение нескольких лет после сопровождения Н.С. Хрущева в его поездке по Албании я фактически был «невъездным». «Рубили» даже туристические поездки.

Тогда же была запущена легенда о моем происхождении. Мне даже приписали фамилию Киршенблат. Антисемитизм всегда был инструментом для травли у тупых партийных чиновников. Фамилия моего отца Немченко – об этом сказала мне мать. Я его никогда не видел. Их пути с матерью разошлись, в 1937 году он был расстрелян. Я с рождения носил фамилию матери – Примаков. С моей бабушкой по материнской линии – еврейкой – связана романтическая история. Обладая своенравным характером, она вопреки воле моего прадеда – владельца мельницы – вышла замуж за простого работника, к тому же русского, отсюда и фамилия Примаковых. Позже они жили в Тифлисе, а ее муж – мой дед, ставший подрядчиком на дорожном строительстве в Турции, – погиб в схватке с грабителями-курдами.

В это время меня познакомил В.С. Зорин с заместителем главного редактора «Правды» Николаем Николаевичем Иноземцевым, отвечавшим в газете за международную тематику. От него я и получил приглашение перейти в «Правду» обозревателем отдела стран Азии и Африки. Я сказал Иноземцеву, что за мной тянется какой-то «хвост», так как с некоторого времени начали отказывать в выезде за рубеж. Николай Николаевич при мне вызвал заведующего отделом кадров и сказал ему: «Запросите соответствующие органы о возможности использовать Примакова в качестве собственного корреспондента «Правды» в одной из капиталистических стран». Я понял, что меня направляют на проверку по самому высшему разряду, и был этому рад.

Для проверки нужно было определенное время. Предположив, что на мой уход может негативно отреагировать руководство Гостелерадио (так и получилось), Иноземцев предложил мне «промежуточно» самому подать документы на конкурсное замещение (я уже был кандидатом экономических наук) должности старшего научного сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).

Мое четырехмесячное первое пребывание в ИМЭМО закончилось после ночного телефонного звонка от главного редактора «Правды» П.А. Сатюкова. Мне сказали, что он меня ждет и за мной уже выехала машина.

– Когда можете приступить к работе? – спросил Сатюков.

После того как мы вышли из кабинета главного – так в то время во всех газетах величали главного редактора, – Иноземцев передал мне, что получена информация из «соответствующих органов» об отсутствии возражений против моей поездки за рубеж в качестве собкора «Правды».

– А что касается этого деятеля из сектора ЦК, то «Правда» вне пределов его влияния, – добавил Николай Николаевич, улыбнувшись.

Проработав в редакции «Правды» три года, я был назначен собственным корреспондентом этой газеты на Ближнем Востоке с постоянным пребыванием в Каире. «Правда» – орган ЦК КПСС, и, будучи ее корреспондентом, впервые начал выполнять ответственные поручения Центрального комитета, политбюро ЦК. Некоторые из них оформлялись в Особую папку, к которой мало кто имел доступ. В ней формулировалась задача, назывались исполнители. Как правило, меры безопасности и связь поручалось обеспечивать КГБ.

Мне довелось выполнить целый ряд таких поручений – много раз посещал север Ирака, где контактировал с руководителем курдских повстанцев Мустафой Барзани с целью сблизить его с Багдадом. Советский Союз хотел мира в Ираке. Мы симпатизировали освободительной борьбе курдов и в то же время стремились укрепить свои позиции в новом руководстве Ирака, которое пришло к власти в 1968 году. С багдадской стороны ответственным за переговоры с курдами был Саддам Хусейн. Я встретился с ним в 1969 году, тогда же познакомился с Тариком Азизом, который был главным редактором газеты «Ас-Саура». И у Саддама Хусейна, и у Тарика Азиза в углу кабинетов стояли автоматы. Время было тревожное. Я совершил много поездок на север Ирака – сначала во время боевых действий к зимней резиденции Барзани по тропам на мулах, потом вертолетом. Соглашение о мире было подписано в 1970 году.

Другой эпизод – первое знакомство с левобаасистскими лидерами после переворота в Дамаске, который произошел 23 февраля 1966 года. В то время в Каире находился первый заместитель министра иностранных дел СССР Василий Васильевич Кузнецов. Он был у Насера, когда поступило сообщение о перевороте в Сирии. Донесение Насеру, которым он поделился с Кузнецовым, было однозначным: власть в Дамаске взяли правые, антинасеровские силы. Я получил указание редакции срочно вылететь в Дамаск.

Прилетел в Бейрут. Сухопутная ливано-сирийская граница оказалась закрытой, закрыт был и аэродром Дамаска, но все же правдами и неправдами удалось получить место на чешском самолете, который летел в Багдад с технической посадкой в Дамаске. Я попытался остаться там. Но меня хотели во что бы то ни стало выдворить. Помог телефонный звонок одному из руководителей левобаасистского движения, пришедшего к власти, Джунди. Была свежа в памяти недавняя встреча в Сирии с ним и его братом – профсоюзным лидером. Результатом полученных интервью стала статья в «Правде» под заголовком «Многоэтажный Дамаск». Заголовок был со смыслом. В Дамаске вплоть до недавнего времени запрещали строить здания выше мечетей, и поэтому, а может быть – из-за жаркого климата, здания уходили на несколько этажей в землю, и их окружали расположенные ниже поверхности небольшие садики. Издали определить число этажей в дамасских домах было невозможно. А статья моя была посвящена правящей баасистской партии, в отношении которой у нас господствовали однозначно негативные оценки, особенно в связи с ее антикоммунизмом. Однако в результате моих контактов выяснилось, что баасистская партия в Сирии отнюдь не однородна. Ее левое крыло не воспринимало антикоммунизм, придерживалось прогрессивных взглядов и идей. После моей публикации, которая наделала много шума в Сирии, братья Джунди чуть не лишились своих постов, а после переворота 23 февраля Абдель Керим Джунди возглавил спецслужбу. Ему я и позвонил, и мне было немедленно разрешено выехать из аэропорта в город.

Корреспондент «Правды» был первым иностранцем, который встретился с премьер-министром нового правительства Зуэйном. Рассказав ему о сомнениях Насера, я взял на

себя смелость посоветовать собрать пресс-конференцию и заявить, что пришедшие к власти в Сирии люди не имеют ничего общего с правыми антинасеровскими группами. Пресс-конференция состоялась. Естественно, я все это доложил шифротелеграммой в Москву, а в Дамаске для меня открылись многие двери. 8 марта во время баасистской демонстрации я был приглашен на трибуну, где познакомился с Хафезом Асадом, в то время командующим военновоздушными силами страны. Асада окружала группа прибывших с ним автоматчиков, которые напряженно вглядывались в шеренги проходивших мимо демонстрантов, – новая власть, судя по всему, еще не чувствовала себя в безопасности. Через много лет я спросил Хафеза Асада, узнаёт ли он во мне того относительно молодого корреспондента «Правды», который был представлен ему во время баасистского парада. Он был крайне удивлен, что тот человек и я – одно и то же лицо.

Был я первым иностранцем, который встретился и с генералом Нимейри, возглавившим переворот в Судане в 1969 году. Я привез генеральному секретарю суданской компартии послание ЦК КПСС, в котором говорилось о поддержке Советским Союзом революционных изменений в этой стране. К сожалению, нашим оптимистическим прогнозам не суждено было сбыться – сыграли свою роль в том числе и ошибки суданской компартии. Но столкновения между Нимейри и коммунистами начались позже. Огромное значение суданским событиям придавал и Египет. Послание Насера Нимейри привез мой знакомый египтянин Хамруш, с которым мы летали в Хартум одним самолетом.

Мы прибыли в столицу Судана, когда еще не была восстановлена телефонная связь. Я вынужден был передавать первую корреспонденцию из посольства шифротелеграммой. Конечно, это стало нарушением всех канонов. Но это была первая информация о происходящем, да еще с изложением разговора с Нимейри. Позже узнал, что корреспонденция увидела свет, так как Сулов на доложенной ему моей телеграмме наложил резолюцию: «Опубликовать в «Правде».

В общем, многое что есть вспомнить. Я продолжал выполнять ответственные миссии по заданию советского руководства, уже не находясь на журналистском поприще, а перейдя на работу в академические институты. Среди этих миссий – конфиденциальный визит в Оман для установления дипломатических отношений СССР с этим аравийским княжеством. Визит, который по нашей просьбе подготовил король Иордании Хусейн, оказался успешным.

Особое значение имели, очевидно, строго конфиденциальные встречи с израильскими руководителями – Голдой Меир, Моше Даяном, Шимоном Пересом, Ицхаком Рабином, Менахемом Бегом – он единственный из всех говорил по-русски: провел в ссылке у нас на севере около двух лет, написал об этом позже книгу, был освобожден, поступил на службу в польскую армию Андерса. Целью всех этих контактов, осуществленных с ведома Садата, который после Насера стал президентом Египта, был зондаж возможности установления всеобщего мира с арабами.

С Ясиром Арафатом, Абу Айядом, Абу Мазеном, Ясиром Абдраббо и другими палестинцами знаком, много беседовал, спорил, дружил с конца 1960-х – начала 1970-х годов. Степень дружеских отношений подчеркивает хотя бы то, что, совершая поездку в Багдад в 1990 году (их всего было три во время кризиса в зоне Персидского залива), я остановился в Аммане, где не только встретился с королем Хусейном, но и попросил прилететь туда из Туниса Ясира Арафата. Он прибыл в назначенное время со всем руководством Организации освобождения Палестины.

Сначала Арафат безоговорочно одобрял насильственное присоединение Кувейта к Ираку, говорил, что в поддержку Саддама выступают народные массы и в арабских странах создастся принципиально иная – революционная ситуация. Чувствовалось, что не все руко-

водство, например Абу Айяд<sup>2</sup>, Абу Мазен и некоторые другие, придерживалось аналогичных взглядов. Но по-видимому, окончательно охладили пыл Абу Аммара (так называли Я. Арафата его близкие) мои слова: «Помнишь, как мы сидели в маленькой комнате на твоей походной железной кровати в Дамаске накануне «черного сентября»<sup>3</sup> 1970 года? Нарастала напряженность в Иордании, в воздухе витала угроза боевых действий, ты тогда мне тоже говорил, что совершенно не опасаясь, если события приведут к столкновению палестинцев в Иордании с королевской армией – офицеры в ней-де палестинцы, да и в арабских народных массах начнутся революционные процессы, «как во Вьетнаме», а те арабские режимы, которые не поддерживают ООП, будут под «народным огнем». Что из этого получилось, хорошо известно».

После этих слов Арафат приказал подготовить свой самолет к вылету в Багдад и обещал, что проведет «нужную по тону» беседу с Саддамом Хусейном до моего приезда.

С ливанскими руководителями – и мусульманскими, и христианскими, разведенными гражданской войной по разные стороны баррикад, – был знаком практически со всеми: с Шамуном, Пьером Жмайелем, их сыновьями, Джумблатом – отцом и сыном, Рашидом Караме и другими.

Вместе с И.П. Беляевым проговорили три часа с Анваром Садатом в декабре 1975 года в его загородной резиденции на Барраже. Получив международную премию имени Насера за книгу о выдающемся египетском руководителе, мы были приглашены для откровенного разговора и практически стали последними советскими людьми, с которыми Садат встречался. Не из-за характера нашей дискуссии – напротив, она была весьма дружеской, – но Садат уже принял к этому времени решение повернуться спиной к Москве.

Три ночные продолжительные встречи (он обычно принимал гостей ночью) состоялись с саудовским королем Фахдом, который подарил мне свои четки, сопроводив это словами: «Я – хранитель двух главных мусульманских святынь, и смотри не передаривай эти четки никому». Я так и поступил. Король Фахд в 1991 году мне говорил, что любит смотреть по телевизору московскую программу «Время», которая, по его словам, правдиво освещает события на Ближнем Востоке, и спросил: «Нельзя ли организовать ежедневный перевод этой программы на арабский язык?»

В музей короля Фейсала я привез уникальную документальную киноплёнку. На ней был запечатлен приехавший в Москву в 1930 году тогда еще не король, а министр иностранных дел Саудовской Аравии, которого на железнодорожном вокзале встречал заместитель наркома иностранных дел Крестинский. За это меня благодарили сыновья покойного короля Фейсала, занимавшие в конце XX столетия высшие посты в саудовском правительстве.

Многokrатно встречался и всегда испытывал самые добрые чувства к иорданскому королю Хусейну. Можно считать, что обоюдная симпатия или – возьму на себя смелость сказать – дружеские отношения зародились, когда опоздал к нему на прием в 1970 году. Король встретил меня в цветастой рубашке с закатанными рукавами и засмеялся, когда я, объясняя причину опоздания, сказал: «Виноваты вы сами: Иордания – единственная арабская страна, где не проедешь на красный свет». О близости отношений свидетельствовал хотя бы такой факт: однажды я был у иорданского премьера, и Хусейн, узнав, что я у него, сам приехал на мотоцикле (он прекрасно водил и самолеты различных марок), а за ним примчались взбешенные, безумно испуганные за своего по-настоящему любимого сюзерена черкесы из личной охраны.

---

<sup>2</sup> Абу Айяд – второй по значению лидер в ООП, руководивший военными операциями. За время многих встреч сложилось впечатление о нем как о человеке непрстом, эволюционирующем в сторону реализма. Он был убит в Тунисе при неизвестных обстоятельствах в 1992 году.

<sup>3</sup> Черный сентябрь – такое название получили события, начавшиеся с захвата заложников и насильственной посадки террористами четырех самолетов на амманский аэродром с угрозой взорвать их с пассажирами, а затем широкомасштабными вооруженными столкновениями иорданской армии с палестинскими боевиками. Стремление Сирии прийти на помощь палестинцам было пресечено угрозой вторжения в Иорданию израильской армии. В результате столкновений палестинские вооруженные отряды, равно как и штабы их политических организаций, были вынуждены покинуть территорию Иордании.



С братом короля, Хасаном, я переписывался годами. В добрых отношениях был и с другим прямым наследником пророка Мухаммеда – марокканским королем Хасаном II, сыгравшим, особенно на «палестинском направлении», выдающуюся роль в попытках сблизить позиции сторон. К сожалению, уже нет в живых многих из упомянутых лидеров.

Откровенные и доверительные отношения установились у меня с президентом Египта Мубараком, начальником его канцелярии Усамой аль-Базом.

Да разве всех и все миссии перечислишь?

Работа в «Правде» была для меня очень важным этапом в моей жизни еще и потому, что в этот период я встретился и сблизился с людьми, которые внесли большой вклад в процесс реформирования нашего общества.

## **Диссиденты в системе**

### **Трудное избавление от идеологических пут**

У нас и за рубежом много писали и пишут о людях, раскачавших советскую систему. Их имена хорошо известны. Это и Андрей Сахаров, и Александр Солженицын, и Мстислав Ростропович, и многие другие. Но они никогда не были частью системы. Они критиковали ее, боролись с ней, требовали ее ликвидации, – но все это «извне», даже в то время, когда некоторые из них еще жили в СССР, до своего вынужденного выезда из страны.

Вместе с тем гораздо реже упоминаются те люди, в том числе занимавшие далеко не низкие официальные посты, те научные учреждения и некоторые газеты и журналы, которые выступали не только против преступной практики массовых репрессий, но и против господствующих идеологических догм, нелепых, анахроничных представлений в области официальных теоретических постулатов. Активность таких «внутрисистемных» сил весьма способствовала переменам, причем качественным, основательным.

Обычно упор делается на вторую половину 80-х годов, на время горбачевской перестройки. Между тем деятельность сил, пытавшихся изменить обстановку в СССР, серьезно откорректировать ее базовую коммунистическую идеологию, не только имела место и раньше, но фактически подготовила последовавшие перемены. Точкой реального отсчета их активности стал XX съезд КПСС.

Я хотел бы написать об этом подробнее. Примитивным выглядит представление о том, что в советском обществе были только те, кто за прошлое, и те, кто против него. Это во-первых.

Во-вторых, нельзя недооценивать роль и деятельность не просто честных и порядочных людей внутри государственных и партийных структур – как раз о таких писалось и говорилось немало, – но и тех, кто, не ограничиваясь защитой незаслуженно преследуемых товарищей, начинал выступать за перемены в теории и практике социалистического строительства. Без показа этого явления общественные процессы в СССР будут выглядеть однобоко, не соответствовать реальности.

В-третьих, такая внутрисистемная деятельность не должна и не может игнорироваться и в сегодняшней внутривластной обстановке в России. Ее недооценка ведет в конечном итоге в пропасть коммунистическое движение. Внимательное и позитивное отношение к такой деятельности неизбежно будет подталкивать многих, кто не связал себя ни с государственным тоталитаризмом, ни с оголтелым антикоммунизмом, к выдержавшим проверку временем социал-демократическим ценностям.

Наконец, хотя книга, как уже говорилось, не автобиографична, я не мог пройти мимо описания внутрисистемных разночтений, противопоставлений и борьбы взглядов, так как именно в такой обстановке во мне формировались те черты политика, которые впоследствии вышли за рамки прежних представлений и во многом способствовали формированию моих позиций в последние десять лет нашего века.

### **Сталин извратил Ленина?**

Можно говорить о двух взаимосвязанных направлениях деятельности «внутрисистемных диссидентов». Первое – стремление убедить общество в том, что Сталин извратил Ленина, создал нечто, противоречащее его идеалам, мыслям и устремлениям.

Конечно, главное, на что опирались при этом, было обвинение Сталина в репрессиях, унесших миллионы жизней ни в чем не повинных людей, в варварских методах коллективиза-

ции, погубившей крестьянство. Но этим дело не ограничивалось. Начиналась критика и другого рода, затрагивающая вопросы партийно-государственного строительства. Например, Л.А. Оников, консультант отдела пропаганды ЦК КПСС, справедливо выступал неоднократно на тему о том, что при Сталине кардинально изменились принципы партийной жизни: наступила эра аппарата, захватившего власть в выборных органах, члены которых практически отстранялись от руководства, не могли даже участвовать в заседаниях бюро без специального приглашения, пришло время всеобщей закрытости, секретности. Все решалось на уровне секретарей, заведующих отделами, секторами, инструкторов райкомов, обкомов, ЦК.

Еще в начале 60-х годов, задолго до перестройки, главный редактор газеты «Правда», в которой я в то время работал, академик А.М. Румянцев написал ко Дню печати статью, в которой настаивал на необходимости возвратиться к ленинским принципам: по его словам, при временном отказе от фракционности в партии возник дискуссионный «вакуум» и Ленин предполагал, а также предлагал заполнить его своеобразным двоецентрием – партийным комитетом и партийными газетами и журналами, которые призваны были критиковать не только нижестоящие организации, но и тот комитет, печатным органом которого они являлись.

Алексей Матвеевич – человек, безусловно, незаурядный и очень, особенно по тем временам, смелый – настаивал на возобновлении этой «ленинской практики». Я дежурил в типографии, когда пришло от члена редколлегии, ведущего номер, указание статью снять. Позже выяснилось, что к А.М. Румянцеву приехал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК и от имени Суслова, руководившего в ту пору всем идеологическим направлением работы партии, предложил исключить из статьи самую ее сердцевину. Румянцев наотрез отказался и вообще снял статью – мы поспешно «забивали» образовавшуюся «дыру» на полосе другими материалами.

А ведь Румянцев был далеко не рядовой партиец. Поэтому он смог противостоять «всепогощущему» Суслову.

Второе направление объективного идеологического расшатывания существовавших порядков заключалось уже не только в показе отступничества Сталина от ленинских принципов, а в той или иной форме признания несоответствия догматических постулатов марксизма-ленинизма реальности. Давалось это нелегко – и потому, что встречало самое рьяное сопротивление «сверху», и потому, что «внутрисистемные диссиденты», поднявшие руку на идеологические догмы, опасаясь реакции начальства, да и по своим убеждениям, ссылались в выводах на того же В.И. Ленина.

Вновь обращусь к примеру Румянцева, которому принадлежали две «двухподвальные» статьи об интеллигенции, наделавшие много шума в стране, так как он, отказавшись от схемы, отводившей центральное место в обществе пролетариату, показал истинную роль интеллигенции. Как было принято, гранки статей такого рода рассылались членам политбюро, от которых поступали замечания. На статьи Румянцева комментарии поступили от одного из помощников генерального секретаря, на что Алексей Матвеевич отреагировал запиской в ЦК, в которой заявил, что, будучи членом выборного органа, не намерен получать замечания от партийных чиновников. Статьи были опубликованы, но ему этого не простили – через некоторое время Румянцев оказался в Академии наук, а в «Правду» пришел другой главный редактор.

А.М. Румянцев был одним из очень немногих высших должностных лиц в партии, который мог себе позволить такую манеру поведения. Когда он уже был в Академии наук, а мы с ним жили в одном доме и по вечерам нередко гуляли во дворе, я много часов проговорил с этим честнейшим, прямолинейным, но несколько «зашоренным» человеком, которого уважал и любил. Он рассказал, как попал в аппарат ЦК. В 1951 году шла очередная дискуссия, на этот раз об экономических проблемах социализма. Сталин, не участвуя в бурных обсуждениях, сидел в своем кабинете и через наушники слушал выступавших. Ему очень понравилась идея, высказанная Румянцевым (впоследствии сам автор признал ее абсолютно бредовой), о том, что

капитализм после потери колоний «развивается на суженной основе». После окончания дискуссии Румянцев, тогдашний директор Института экономики в Харькове, вызвал секретаря ЦК Маленков, отвечавший за кадры, и со ссылкой на Сталина предложил пост заместителя заведующего управлением науки ЦК КПСС (тогда это было управлением, позже стало отделом). Румянцев отказался, сославшись на свою «провинциальность», неуверенность в том, что справится с такой ответственной и масштабной работой.

Через две недели последовал новый вызов к Маленкову, который, по словам Алексея Матвеевича, сказал ему следующее: «Товарищ Сталин просил передать, что, если Румянцев не хочет быть заместителем, назначьте его заведующим, разделив управление на две части – естественных<sup>4</sup> и общественных наук». Так и поступили.

Румянцев был избран членом президиума на XIX съезде партии, возглавлял идеологическую комиссию, его заместителем был Суслов – тогда еще не столь известный партийный руководитель. В дальнейшем Румянцев стал шеф-редактором журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, организованного ЦК КПСС, но при членстве в редколлегии представителей ряда компартий. Этот журнал превратился в своеобразный партийный «центр инакомыслия». В журнале работала целая плеяда людей, которые в 70–80-х годах заняли ведущие позиции в международном отделе и в отделе соцстран ЦК КПСС. Не буду перечислять поименно, лишь скажу, что их активность постепенно, хоть и половинчато и далеко не последовательно – иначе в то время и быть не могло, – помогала приближать партию к реальному пониманию действительной, а не «марксистско-книжной» обстановки в мире, перспектив развития мирового сообщества. Их роль в этом трудно переоценить.

Вылетевшие из «румянцевского гнезда» пошли во многом дальше шеф-редактора. Но и они свои свежие, правильные идеи прикрывали подчас выдернутыми из контекста цитатами Ленина. Не думаю, что это был цинизм или попытки приспособиться, прикрыться, хотя и это имело место. Была в ту пору уверенность в необходимости вернуться к «ленинскому пониманию», к «ленинским оценкам» происходивших и происходящих процессов.

Характерно, что в этом направлении эволюционировал и секретарь ЦК, занимавшийся соцстранами, Ю.В. Андропов после своего перевода с поста посла СССР в Венгрии. Он окружил себя одаренными людьми, набрав их в группу консультантов, в основном выходцами из журнала «Проблемы мира и социализма». Один из них, Н.В. Шишлин, рассказывал мне, что в начале такого общения Андропов часто раздражался, а потом уже не мог обходиться без откровенных и достаточно острых «внутренних» дискуссий. С Ю.В. Андроповым работала в то время целая группа партийных интеллектуалов – таких, как Г.А. Арбатов, Ф.М. Бурлацкий, А.Е. Бовин, Н.В. Шишлин и другие.

## В эпицентре – ИМЭМО

В стремлении преодолеть догматическое мышление, навязываемое официальной идеологией, большую роль сыграл Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).

Второй мой приход в ИМЭМО состоялся после того, как, будучи корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, я «умудрился» защитить докторскую диссертацию, тоже по экономике. «Главным» в «Правде» в то время был М.В. Зимянин<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Заведующим этим управлением был назначен Ю. Жданов – сын известного партийного деятеля А. Жданова.

<sup>5</sup> Я многим обязан ему по-человечески. Например, хотя бы тем, что он категорически воспротивился уже подготовленной редакцией моей командировке на юг Аравии, в партизанский отряд в Дофаре, который вел вооруженную борьбу против англичан, все еще правивших в Адене. «Это слишком опасно, я дорожу тобой» – такие слова Михаила Васильевича меня тронули до глубины души, хотя по-журналистски ох как хотелось дать материал в «Правду» с места боев, тем более что очень хорошо были встречены читателями «Правды» – тогда она издавалась тиражом 11 млн экземпляров – мои репортажи из

Он отнюдь не был сторонником моей научной деятельности, предоставив мне перед защитой отпуск на две недели без сохранения содержания. Но я его не виню в этом. Может быть, он знал, что перед защитой, которая проходила в ИМЭМО, я получил предложение от Н.Н. Иноземцева, в то время уже назначенного директором института после смерти А.А. Арзуманяна, перейти на работу его первым заместителем. Аналогичное предложение мне сделал Г.А. Арбатов – директор нового, отпочковавшегося от ИМЭМО Института США и Канады.

В это время Иноземцев и Арбатов очень тесно работали с генеральным секретарем ЦК Л.И. Брежневым. В группу, готовившую материалы пленумов, съездов партии, выступлений Брежнева, входили и другие, в том числе Зимянин. От Иноземцева и Арбатова я знал (вопреки тому, что пишут во многих СМИ, ни разу в то время не участвовал в таких группах, обычно собиравшихся на загородных дачах, и ни разу не виделся с Л.И. Брежневым), что между составителями этих материалов не было единства. К «прогрессистам», отстаивавшим необходимость отойти хотя бы от самых очевидных нежизненных догм, приблизиться к реальному пониманию действительности и внутри страны, и в международной жизни, принадлежали Иноземцев, Арбатов, Бовин и некоторые другие. К противоположной стороне относился Зимянин, несмотря на то что его нельзя было, во всяком случае однозначно, отнести к самому консервативному крылу партии. Однако, как мне кажется, он обладал большим «партийным опытом», чем два академика, и четко придерживался табу на любое инакомыслие.

Характерно, что обе группы выходили и сближались с различными людьми в высшем руководстве партии. Тогда уже Иноземцев, например, с воодушевлением рассказывал мне, как отреагировал М.С. Горбачев – в то время секретарь ЦК – на замечания некоторых членов политбюро, потребовавших исключить из готовившейся речи генсека ссылку на необходимость дать большую хозяйственную самостоятельность колхозам.

– Если это не пройдет, – с восторгом пересказал Иноземцев слова Горбачева, – тогда народ сам все равно решит эту задачу.

Я понимал, что дискуссии в рабочих группах идут нешуточные и они давали определенный простор для новых идей. Но, опять-таки по словам Иноземцева, Брежнев, который был настроен на серьезную реформаторскую деятельность в партии и в обществе, коренным образом изменился после 1968 года – так его испугала Пражская весна.

– Николай, мы же с тобой фронтовики, неужели нам занимать мужества? – говорил он, прогуливаясь вдвоем с Иноземцевым во время работы на даче. За этим следовали рассуждения о необходимости радикальнейших перемен в стране, партии, кадрах. Такие разговоры прекратились после того, как советские танки вошли в Прагу. А потом к этому прибавились недомогание Брежнева и старческий склероз...

С постоянным нахождением Иноземцева в «брежневских группах», очевидно, было связано и сделанное мне предложение стать его первым замом в ИМЭМО – я оставался им с 1970 по 1977 год. Все серьезные, особенно кадровые, вопросы я решал только с Николаем Николаевичем, но повседневно практически руководил институтом.

Третий раз пришел в ИМЭМО уже в 1985 году, сменив на посту директора А.Н. Яковлева, который перешел на работу в ЦК заведующим отделом пропаганды. На моей кандидатуре настаивал Александр Николаевич.

Я переходил с директорской должности в Институте востоковедения – тоже очень важного академического института, не уступающего по размерам ИМЭМО. И все-таки ИМЭМО был значимее в плане выработки новых идей, новых подходов, нового отношения к процессам, происходящим в мире. Да и занимал особое место среди других академических институтов гуманитарного профиля своей близостью к практике, к структурам, вырабатывавшим политическую линию.

ИМЭМО возник после XX съезда партии в эпоху «оттепели» как преемник закрытого при Сталине Института мирового хозяйства и мировой политики, руководимого академиком Е.С. Варгой. До сих пор непонятно, как этот известный ученый, да еще с коминтерновским прошлым, осмелившийся писать о новых качествах капитализма, точнее, об «организованном капитализме», включающем в себя элементы плановости, и раскритикованный за это в пух и прах «самим», мог избежать ареста и умер своей смертью в 1964 году.

Когорта крупных научных исследователей – соратников Евгения Самуиловича Варги влилась в ИМЭМО в 1956 году. Заслуга его первого директора, Анушавана Агафоновича Арзуманяна, заключалась не только в том, что он широко открыл двери для этой плеяды прекрасных ученых и привлек для работы в институт целый ряд талантливых молодых специалистов, в том числе с «подпорченными» для того времени биографиями, но и создал атмосферу творческого поиска. В 50-х и 60-х годах ему в немалой степени помогало то, что он и А.И. Микоян были женаты на родных сестрах, и в этих условиях партийным реакционерам было трудно помешать развернуться институту как учреждению новаторскому, творческому.

Арзуманян ненавидел Сталина. Помню, во время моего первого пребывания в институте в 1962 году я был определен в группу по национально-освободительному движению, возглавляемую прекрасным ученым и человеком, к сожалению так рано ушедшим из этой жизни, В.Л. Тягуненко. Мы писали тезисы для ЦК, которые потом были опубликованы как интервью Хрущева. Арзуманян «завернул» первый вариант со словами: «Вы замаскированно используете сталинскую методику в определении разницы между буржуазной и национально-освободительной революциями. Это неприемлемо».

Разглядел все-таки...

По-настоящему ИМЭМО расцвел в те годы, когда его директором стал академик Николай Николаевич Иноземцев. У меня к нему особые чувства. Нас связывали, помимо служебных, дружеские и, что особенно важно, доверительные отношения. Это был, несомненно, выдающийся человек – образованный, глубокий, интеллигентный, смелый, – прошел всю войну офицером-артиллеристом, получив целый ряд боевых наград, и в то же время легкоранимый, главным образом тогда, когда приходилось решительно отбивать атаки своих личных противников, а таких было немало – злобных, завистливых.

Трудно было рассчитывать на то, что «старая гвардия» потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ИМЭМО начали атаку на Иноземцева. Это было уже в то время, когда я стал директором Института востоковедения, но, что совершенно естественно, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника ИМЭМО были арестованы по обвинению в связи с западной разведкой (позже обвинение не подтвердилось и они были с извинениями освобождены), затем последовали доносы на самого Иноземцева. В этой кампании активно участвовал член политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробности мне рассказал Ник Ник, которого я навел в больницу на Мичуринском проспекте – у него резко ухудшилось здоровье. В.Н. Шенаев, в то время секретарь парткома ИМЭМО, несмотря на прямые угрозы высоких партийных боссов, занял жесткую, непримиримую позицию в защиту института и его директора. Особенно злило тех, кто занес руку над ИМЭМО, что в нем не оказалось предателей. Изнутри взорвать институт не удалось.

Все близкие советовали Ник Ник пойти к Брежневу – он наотрез отказывался. Тогда вместо него это сделали Арбатов и Бовин. Брежнев при них позвонил Гришину, и тот, будучи председателем специально созданной «по делу ИМЭМО» комиссии, не на шутку перепугавшись, на вопрос генсека, что там делается с Иноземцевым и его институтом, ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились...

Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим «островом свободомыслия» была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников – а они задавали тон в академии – была так или иначе, прямо или косвенно связана с «оборонкой». Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста, больше всего должна была бы подчиняться диктуемой сверху дисциплине. А получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1974 году, а в 1979-м – академиком. Естественно, посещал все общие собрания, и на моих глазах часто разворачивались события, отнюдь не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не «на ушах стояло», чтобы провести в академики заведующего отделом науки ЦК Трапезникова – одного из близких Брежневу людей. На отделении истории его избрали, а на общем собрании – прокатили. Не помогли ни заранее проведенная работа, ни выступления, в том числе и некоторых уважаемых академиков, с призывом избрать Трапезникова. Говорилось не только о его «научных достижениях», во что мало кто верил, – подкупающе звучали слова о том, как много пользы академия получает от его поддержки, что, очевидно, было правдой. Но при тайном голосовании все-таки провалили.

Срабатывал синдром негативного отношения, может быть даже не всегда справедливого, ученых к партийным и советским функционерам, претендующим на членство в академии. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академики – как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалась в действительные члены АН СССР кандидатура члена-корреспондента министра высшего образования Елютина. Представлявший его академик – секретарь отделения – охарактеризовал Елютина как крупного ученого. Председательствующий, президент академии, спросил, есть ли замечания. Из зала потянулась рука и был задан вопрос: «Что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от «членкорства», то есть за четыре года?» В ответ был приведен целый перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик, задавший вопрос, вышел на трибуну и сказал: «Если Елютин так много успел сделать по научной части, то, следовательно, он плохо работал министром – у него попросту на это не могло хватить времени. Или наоборот». В результате при тайном голосовании Елютина прокатили.

Были и другие причины отказа в избрании. Помню, как при обсуждении кандидатуры одного почтенного и достаточно известного юриста взял слово академик Глушко – дважды Герой Социалистического Труда, один из крупнейших конструкторов-ракетчиков, – и зачитал несколько выдержек из работ этого юриста – и старых, и не очень старых, – где тот высказывался в пользу так называемой презумпции виновности, то есть достаточности самопризнания для обвинения. Академик Глушко не только провел параллель этой позиции с трудами А.Я. Вышинского, но и спросил, где работал соискатель в 1937 году. Последовавший ответ – «в генеральной прокуратуре» – был достаточным. Итоги голосования не смогли изменить объяснения коллег-юристов, что кандидат был тогда на низших ролях и никаких связей с генеральным прокурором Вышинским, прославившимся во время процессов 1937–1938 годов, у него не было. Проявилась неприязнь, а подчас и прямая ненависть к тем, кто так или иначе ассоциировался с массовыми репрессиями. Картина была бы неполной, если не упомянуть, что репрессии не обошли и многих ученых, конструкторов, увешанных теперь орденами, тех, кто сидел в зале и голосовал.

Характерна и эпопея с А.Д. Сахаровым. Несмотря на то что некоторые коллеги подписались под письмом в «Правду», его осуждающим<sup>6</sup>, при всем давлении сверху ни разу даже

<sup>6</sup> Президент академии М.В. Келдыш сказал нам, нескольким представителям общественных дисциплин, которых он пригласил для составления ответа американским ученым, выразившим протест против гонений на Сахарова: «Под письмом в «Правду» подписались не все, кому это было предложено. И вы, пожалуйста, не переусердствуйте. Сахаров – крупнейший ученый и сделал очень много для страны. Его высказывания и занятая им позиция – во многом не его личная вина». Академик

не пытались поставить вопрос об исключении А.Д. Сахарова из состава академии. Не было никаких сомнений, что тайное голосование по этому вопросу с треском бы провалилось.

Когда уже при Горбачеве Сахаров вернулся в Москву из своего вынужденного пребывания в Нижнем Новгороде (тогда г. Горький), все в академии, включая, я уверен, и «подписантов», вздохнули с глубоким облегчением.

## **Против «кривых зеркал»**

Стараниями многих теоретиков партии марксизм, научный характер которого бесспорен, был превращен в своеобразную религию, заявлен как единственно правильное научное направление – все другие относились к «ереси». Утверждалось, что он универсален, сохраняя без всякой адаптации к меняющейся действительности правоту всех своих выводов, – попытки оспорить провозглашались отступничеством. Наконец, «классики» марксизма обожествлялись, превращались, по сути, в иконы. Не мешало бы добавить, что это органично сочеталось с гонениями на истинные религиозные воззрения людей.

Характерно, что все это оставалось неизменным даже после публикации материалов о миллионах невинных жертв сталинских репрессий. Не могу сказать, что радикальный пересмотр отношения к Сталину произошел одномоментно и безболезненно. Нельзя недооценивать просталинских настроений, имевших широчайшее распространение в обществе, особенно после войны. Лишь единицы (естественно, из сохранившихся после репрессий) думали иначе. Одной из таких была моя мать – Анна Яковлевна, вокруг которой «попадали» все близкие и друзья в 1937 году, «уединившаяся» на тбилисском прядильно-трикотажном комбинате и проработавшая там врачом бессменно последние тридцать пять лет своей жизни.

Помню, как, будучи еще студентом, в самом начале 50-х годов я приехал на каникулы в Тбилиси и разговорился с матерью на «сталинскую тему». Был взбешен ее словами о том, что Сталин – негодяй, примитивный душегуб. «Да как ты смеешь, ты хоть что-нибудь читала из трудов этого «примитивного человека»!» – полез я. Меня сразил ее спокойный ответ: «И читать не буду, а ты пойдешь и донеси – он это любит». Я покрылся потом и не возвращался больше к этой теме в беседах с матерью никогда.

Но после XX съезда отношение к Сталину менялось. И тем более удивительно, когда часть КПРФ, претендующая на одно из лидирующих положений в обществе, не переосмысливала догматические коммунистические постулаты, а если и делала это, то как бы мимоходом. Однако любому объективно настроенному наблюдателю было понятно, что будущее у этой партии может быть в случае признания ею ценностей социал-демократии.

Сегодня, с расстояния пройденных лет, когда думаешь о том, какие идеи приходилось нам доказывать, пробивать через сопротивление, мягко говоря, консервативных элементов, иногда становится просто смешно. А тогда было совсем не до смеха – и еще задолго до массовой атаки на ИМЭМО, о чем писал выше.

Ну хотя бы такой курьезный случай из практики 70-х годов. ИМЭМО всерьез занимался долгосрочными прогнозами развития мировой экономики. Различные сценарии публиковались в нашем журнале. Один из его читателей – отставной генерал НКВД – пожаловался в ЦК на то, что во всех этих сценариях, содержащих прогнозные оценки до 2000 года, фигурирует «еще не отправленный на историческую свалку» капиталистический мир. Нас обвинили в ревизионизме, и пришлось по этому поводу писать объяснительную записку в отдел науки ЦК.

А сколько сил ушло, например, на то, чтобы доказать очевидное для нас, но не во всем совпадавшее с работами классиков марксизма-ленинизма положение о существовании универ-

---

Келдыш, а он мог себе это позволить, возмущенно говорил о том, что высшие руководители партии и государства с Сахаровым вообще не встречались, а должны были это делать с «такой величиной» регулярно и объяснять нашу линию, нашу политику, реальное положение дел и в стране и на международной арене.



сальных законов в отношении производительных сил вне зависимости от характера производственных отношений. Иными словами, что существует ряд одинаковых закономерностей независимо от того, где развивается производство – в социалистическом или капиталистическом обществе. А ведь противники этого очевидного положения практически захлопывали дверь для использования у нас опыта западных стран.

Нас обурежала гигантомания. Мы строили огромные заводы – чуть ли не единственных производителей той или иной продукции в стране, считая, что выигрываем на производительности труда, и ставили себе в заслугу отсутствие конкуренции, в то время как на Западе давно уже поняли преимущества мелкого и среднего производства, рассредоточенного по всей стране. Или многоотраслевая структура управления – около 95 процентов корпораций в США многоотраслевые, а это высшая форма организации производства, над которой уже не стоят ни министерства, ни ведомства. Такая же картина в Японии, Западной Европе. Или создание всех условий, вплоть до организации безлюдных третьих смен, для того, чтобы быстрее амортизировать передовое и дорогостоящее оборудование. Или создание «венчурных» предприятий, призванных решить определенную задачу на острие научно-технического прогресса. Или оптимальная организация сбыта и утилизации сельскохозяйственной продукции. Этот список, конечно, можно было бы продолжать и продолжать.

Эти и многие другие проблемы становились содержанием записок, направляемых руководством страны. Щедро снабжал ими ИМЭМО и рабочие группы при Брежневе, а во времена Горбачева прорывался с такими записками на самый верх.

Но часто это происходило поистине в карикатурных формах. Уже в годы перестройки Николай Иванович Рыжков, тогдашний председатель Совета министров, понимая важность производственно-организационного преобразования подшипниковой промышленности для развития отечественного машиностроения, собрал у себя широкое совещание производственников и ученых. Мы в ИМЭМО серьезно подготовились к этой встрече, изучив опыт Швеции, ФРГ, провели несколько обсуждений, вовлекли в работу способных экономистов, в частности А.А. Дынкина и Р.Р. Симоняна. Были на совещании с ними в Кремле во всеоружии, предложив схему создания четырех научно-производственных объединений и подробно показав их структуру. На вопрос, как распределится между ними качественное производство подшипников, ответили, к удивлению многих присутствовавших, что все четыре объединения будут выпускать однотипную продукцию – так мы обеспечим конкуренцию. Тогда взял слово министр автомобильного транспорта и, обращаясь к председателю Совмина, сказал: «Я обещаю прорыв в подшипниковой области другим путем – мне нужен еще один заместитель министра, вот его «объективка».

Будучи умным человеком, Николай Иванович прервал заседание, сказав министру: «Вы явно не готовы к обсуждению». Но и в Кремль по этому вопросу нас больше не вызывали...

Помню, как, еще во времена Брежнева, Иноземцев пригласил меня к себе домой поужинать. Он был явно взволнован. Сказал, что впервые предложили ему, тогда кандидату в члены ЦК КПСС, выступить на пленуме Центрального комитета. «Не будьте «белой вороной», напишите текст», – посоветовал я Ник Нику. «Не могу, буду выступать без бумажки».

Я оказался прав – уже одно это вызвало неудовольствие многих присутствовавших в зале. Еще больше покорило содержание выступления. Иноземцев возразил против монополии на внешнюю торговлю даже не государства, а, как он справедливо сказал, Министерства внешней торговли СССР. Кроме этого, Иноземцев говорил о необходимости целенаправленной работы для обеспечения наилучших результатов на прорывных направлениях научно-технического прогресса. И все бы ничего, но академик Иноземцев привел в пример капиталистическую Японию, которая концентрировала средства через министерство промышленности и торговли, чтобы помочь частному бизнесу вырваться вперед в производстве компьютеров. После успеш-

ного освоения этих средств и выхода на показатели нового поколения компьютерной техники компании снова «разбежались» по своим «квартирам» и продолжили конкуренцию за рынки.

Николай Николаевич был очень удручен, когда ему передали реплику одного из руководителей, сказавшего в своем «кругу»: «Вы разве не видите, он нас пытается поучать!» А бессменный помощник нескольких генеральных секретарей, безусловно очень остроумный, едкий человек, А.М. Александров-Агентов сказал Иноземцеву: «Николай Николаевич, после вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным».

Кстати, когда я в единственном числе уже на XIX партконференции выступил против антиалкогольной кампании, которая осуществлялась чисто административными мерами и привела прямо-таки к плачевным результатам в экономике и нанесла вред здоровью людей (начала развиваться, пожалуй, впервые в таких масштабах в России наркомания, токсикомания, исчез сахар – гнали самогон, вырубали виноградники и так далее и тому подобное), тот же А.М. Александров, который в то время еще оставался помощником теперь уже у М.С. Горбачева, отвел меня в сторону и спросил:

– Любите Гашека?

– Конечно, его герой Швейк – один из самых моих любимых.

– Так вот, – продолжал Александров, – помните, как в кабаках висели портреты Фердинанда, обсиженные мухами? Теперь и ваши портреты в таком же виде будут висеть во всех советских пивных.

После моего выступления многие подходили и пожимали руку. Конечно, оно было далеко не главным в прекращении этой бессмысленной, волюнтаристской и совершенно неподготовленной антиалкогольной кампании, но вскоре ее свернули, а повсеместно созданные антиалкогольные комитеты канули в Лету.

Много шишек набил себе ИМЭМО, доказывая изменившийся характер капитализма. Очень нелегко было вопреки совершенно очевидным вещам, в эпоху научно-технической революции, быстро меняющей облик всего мира, преодолеть сопротивление тех, кто все еще считал, что производственные отношения при капитализме выступают как тормоз развития производительных сил. В штыки встречались догматиками – а они верховодили во всяком случае в соответствующих секторах отделов науки и пропаганды ЦК КПСС – такие бесспорные теоретические положения, выдвигаемые сотрудниками ИМЭМО и некоторых других институтов, как способность производственных отношений меняться в рамках капитализма, приспособляясь к требованиям научно-технической революции. Писали, в том числе и я, что этот процесс затрагивает такую политэкономическую «святая святых», как собственность, причем меняются не только ее формы, но и содержание.

Мы показывали, насколько серьезных успехов добился современный капитализм в контроле инфляции, а подчас и в использовании ее для роста производства, вообще в регулировании на макро– и микроуровнях.

Известно, что Ленин, говоря об историческом месте капитализма, выстраивал следующую цепочку: свободная конкуренция способствует концентрации производства – концентрация в свою очередь приводит к монополии – монополия ограничивает и стесняет свободную конкуренцию. Конечно, и Ленин не считал, что монополии охватывают все, но главное все-таки заключалось в его выводе о том, что монополия является антиподом конкуренции, которая, как известно, выполняет функцию силы, движущей технический прогресс. А как сложилась жизнь, особенно во второй половине XX века?

Во время моего директорства в ИМЭМО мы создали кафедру на экономическом факультете Московского государственного университета, которую на общественных началах я возглавил. На 1 сентября 1996 года в 9 часов утра была назначена моя лекция для студентов третьего курса. Я тщательно к ней готовился, но, несмотря на последовавшие положительные отзывы,

не заблуждался – был далек от успеха. В аудитории сидели студенты, не видевшие друг друга несколько месяцев летних каникул, и им было куда интереснее поделиться друг с другом своими впечатлениями. В общем, такого состояния, когда «слышно, как муха пролетит», в аудитории не было. Но все-таки вопросы задавали, и в том числе недоуменные по той части моей лекции, где я сказал: «Требуется корректировки понятие монополии, которое так часто трактуется в научной и учебной литературе со ссылкой на Ленина. Во-первых, хотел бы обратить внимание на неустойчивость монополий в капиталистическом мире в современных условиях – возросшая зависимость от рынка поставила даже многие крупные компании на грань банкротства. При высоком научно-техническом уровне современного производства те, кто получает первыми новую технологию, могут ликвидировать монополию, выйдя на рынок с аналогичной продукцией. В таких условиях, приспосабливаясь к обстановке, преобладающее большинство монополий превращаются в многоотраслевые корпорации. Во-вторых, в капиталистическом мире происходит рост немонополизированного сектора. В 80-х годах на долю этого сектора в капиталистических странах приходилось более 40 процентов валового внутреннего продукта и 60 процентов численности занятых – и не только в наукоемких, но и в «традиционных» отраслях. В-третьих, конкуренция бурно развивается не только на национальном, но и на транснациональном уровне. Таким образом, можно сделать вывод, что концентрация и централизация капитала в новых условиях не вытесняет конкуренцию и не тормозит научно-технического прогресса».

Можно считать, что впервые в ИМЭМО повсюду заговорили об интеграционных процессах, о качественном сдвиге, связанном с созданием транснациональных компаний (ТНК).

Это кажется ныне забавным, но ИМЭМО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений «идеологический прорыв», который заключался в том, что впервые было заявлено о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе.

А к каким только выкрутасам не прибегали, чтобы подтвердить «годную для всех времен» правоту Ленина, который «поверг ниц» Каутского, доказывая неизбежность абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме!.. Это была далеко не шуточная проблема. Ведь из этого постулата выводилась универсальная неизбежность революции, свергнувшей капиталистический строй. Особенно трудно стало догматикам доказывать незыблемость представления об абсолютном обнищании рабочего класса, когда перестал существовать железный занавес и те, кто выезжал за границу – а их становилось немало, – убеждались, насколько улучшалась жизнь, поднимался ее материальный уровень за рубежом.

Для того чтобы отстоять вывод о том, что абсолютное обнищание рабочего имманентно капитализму во все времена, прибегали даже к такому «объяснению»: потребности трудящихся с развитием научно-технического прогресса растут быстрее, чем реальная возможность удовлетворять эти потребности. При этом игнорировался относительный, а не абсолютный характер обнищания даже в такой, тоже не соответствующей действительности, ситуации.

В ИМЭМО открыто дискутировались такие проблемы.

Новому осмыслению начало подвергаться и такое, казалось бы, «железобетонное» положение марксизма-ленинизма, как неизбежность циклических кризисов при капитализме, разрушающих производительные силы и отбрасывающих все общество назад. Этому противопоставлялось в виде несомненного преимущества бескризисное развитие при социализме. Вместе с тем становилось все очевиднее, что, во-первых, циклические кризисы в капиталистических странах теряли свою первоначальную остроту, видоизменялся сам цикл и, во-вторых, именно на время спада производства приходилась наиболее активная фаза его структурной перестройки в пользу наукоемких направлений и его модернизации, что позволяло делать очередной рывок.

Переосмысливалось отношение и к структурным кризисам капитализма. Я выступил с докладом на ученом совете ИМЭМО по энергетическому кризису, разразившемуся в середине 70-х годов. Стремился не только показать неизбежность его развития, но и способность капиталистических стран справиться с кризисом, возникшим после того, как энергетическая составляющая стоимости продукции и услуг взлетела чуть ли не до небес.

На Западе действительно успешно отреагировали на кризис, начиная с экономии энергии, но не в банальном понимании этого, а целенаправленно изготавливая изделия, орудия и средства производства, потребляющие значительно меньше энергии, а также развивая новые «нетрадиционные» источники энергии.

Вместо того чтобы действовать так, как на Западе, адаптируя к новым условиям все свое хозяйственное развитие, мы сделали ставку на то, чтобы получить в этих условиях максимальную выгоду от увеличения экспорта нефти и других энергоносителей, а на вырученные средства закупами, увы, далеко не высокотехнологичное оборудование. К чему это в конце концов привело – хорошо известно.

Но самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружающей нас действительности, было, пожалуй, отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем – социалистической и капиталистической. Защита понятия конвергенции считалась полным отступничеством от марксизма-ленинизма. Впервые Ленин, а затем, в гораздо более отчетливой форме, Сталин утверждали, что, в отличие от всех других исторических формаций, социализм, как таковой, не возникает в недрах предшествовавшего ему капитализма. Материально – заводы, рудники, города, сельскохозяйственные угодья – да, это достается по наследству. Но ни одного элемента, составляющего отношения к производительным силам. Отсюда и «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем (лишь после полного разрушения. – Е. П.) мы наш, мы новый мир построим».

Отрицание конвергенции не укладывалось даже в систему самих марксистско-ленинских идеологических представлений, но это мало кого волновало. Утверждали же, что социализм оказывает влияние на все мировое развитие. Если так, то как можно абстрагироваться от того, что он влияет на капитализм, видоизменяя его хотя бы в определенных пределах? Но от признания этого – один шаг до признания и обратного воздействия. Открытых шагов ни в одном, ни в другом направлении сделано не было.

Но косвенное согласие с тезисом о взаимовлиянии двух систем содержалось во многих экономических работах академических институтов и в меньшей степени – в работах высших учебных заведений. Главный вывод, который отстаивали мы, состоял в тезисе о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. По этому вопросу ученые ИМЭМО, ЦЭМИ, Института экономики и некоторых других «наглухо» разошлись со многими обществоведами, преподавателями политэкономии<sup>7</sup>. Сама жизнь подталкивала к этому выводу. Здесь сказывалось большое влияние практики, которая демонстрировала ряд преимуществ рыночных отношений.

Что касается влияния социализма на капитализм, то без понимания этого трудно объяснить те изменения, которые произошли в капиталистическом мире, особенно после Великой депрессии 1929–1930 годов.

В этом вопросе я разделяю взгляды Г.Х. Попова, изложенные в его интересной книге «Будет ли у России второе тысячелетие». Я так же, как и он, считаю, что в применении к сегодняшнему дню нет никаких оснований оперировать такими категориями, как социализм и капитализм. В чистом виде их попросту нет.

---

<sup>7</sup> Конечно, я не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление об ИМЭМО и отпочковавшихся от него институтах как о единственных научных центрах, противодействовавших догматическим и консервативным силам, пытавшимся сохранить и укрепить свои позиции в партии и государстве. Но факт остается фактом: многие прогрессивно мыслящие ученые, работавшие в других НИИ или высших учебных заведениях, тяготели к ИМЭМО.

В работах ИМЭМО исподволь проглядывала эта идея. Были и «живые» примеры, ее подтверждающие. В середине 70-х годов я познакомился с Василием Васильевичем Леонтьевым – одним из крупнейших американских экономистов, получившим всемирное признание за разработку и внедрение в экономическую практику США линейного программирования. Леонтьев в 20-х годах работал в Госплане, в Москве, был направлен в торгпредство в Берлин, стал «невозвращенцем», а затем переселился в Соединенные Штаты, где смело и умно применил некоторые госплановские навыки и идеи.

В 70-х он был гостем ИМЭМО, и Иноземцев пригласил его поужинать к себе домой. Это, правда, не имело никакого отношения к теории конвергенции, но просто интересный эпизод. Незадолго до этого Ник Ник въехал в шикарную квартиру – построили дом для членов политбюро, но те в последний момент не захотели жить все вместе. Этот «нестандартный» дом отдали Академии наук, которая распределила квартиры среди ученых. Василий Васильевич обошел многочисленные «закоулки» – зимний сад, библиотеку, гардеробную, сервировочную комнату, холлы – и, прищутив глаз, спросил: «Николай Николаевич, вот смотрю и думаю, а может, мне и не стоило уезжать?»

## **Международные отношения: что за кадром**

Следовало отходить от догматических представлений и во внешнеполитической и военно-политической областях. Задача эта становилась весьма актуальной, но, приступая к ее решению, мы в ту пору и здесь прикрывались... Лениным. Вспоминаю, как я отыскал цитату, где ранний Ленин говорил, что в ряде случаев интересы всего общества могут стоять выше классовых интересов трудящихся, и переслал ее для использования Иноземцеву в то время, когда он трудился на даче. Цитата нашла свое применение.

«Свежему» прочтению подверглась и Декларация о мире – самый первый внешнеполитический документ Советской России – и, самое главное, ленинские комментарии к ней на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Подчеркивались слова Ленина о том, что призыв к справедливому демократическому миру был адресован не только народам, но и правительствам, так как, по словам Ленина, игнорирование правительств (империалистических со стороны созданного в России народного правительства) может привести к затягиванию заключения мира. «Важно также отметить, что предложение о справедливом демократическом мире, иными словами, о внедрении в международную практику абсолютно новых принципов, ни в коей мере не означало в понимании советского руководства отказа от всего, что было в системе международных отношений до рождения советской власти в России», – писал я в одной из работ, ссылаясь опять-таки на ленинские слова о необходимости «разумно принимать все пункты, где заключены условия добрососедские и соглашения экономические».

Через такие трактовки протоптывался и обосновывался путь к необходимым внешнеполитическим компромиссам, способным разрядить международную обстановку в условиях холодной войны.

В этой связи прежде всего встала проблема мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем. Традиционно оно рассматривалось как «передышка» в отношениях между социализмом и капитализмом на международной арене. С появлением ракетно-ядерного вооружения, способного уничтожить не только две сверхдержавы, но и весь остальной мир, стали относить мирное сосуществование к категории более или менее постоянной. Но при этом не забывали добавлять, что это не означает прекращения противостояния и не притупляет идеологическую борьбу. Такое видение отношений с Западом, умноженное на стремление достаточно сильных и авторитетных кругов в США и некоторых других запад-

ных странах расправиться с Советским Союзом<sup>8</sup>, порождало перманентную нестабильность, неустойчивость на мировой арене. Создавался замкнутый круг, в котором раскручивалась гонка вооружений.

В конце концов установилось ценой огромных усилий и жертв с нашей стороны необходимое на тот период ядерное равновесие. Но гонка вооружений продолжалась, приближая все более вероятный сценарий уничтожения всего человечества. В это время в ИМЭМО и некоторых других научных центрах, от него отпочковавшихся, – особенно в Институте США и Канады, а затем в Институте Европы, возглавляемом академиком В.В. Журкиным, – началась разработка новых внешнеполитических подходов с целью переломить тенденции, ведущие к термоядерной войне, и одновременно оптимизировать соотношение, с одной стороны, между средствами, выделяемыми в СССР на надежную оборону, и с другой – на рост гражданского производства и развитие социальной сферы. Появился термин «разумная достаточность».

Дело в том, что мы не только вынужденно наращивали свои вооружения, но отвечали США «зеркально». Между тем игнорирование принципа «достаточности» для сдерживания с учетом возможности нанесения «неприемлемого ущерба» для другой стороны стоило нам очень дорого: ВВП СССР был намного меньше американского, а на производство единицы национального дохода мы, по расчетам ИМЭМО, в 70-х годах тратили основных фондов больше почти в два раза, материалов – более чем в полтора раза, энергии – более чем вдвое.

Одновременно в ИМЭМО и ряде других институтов Академии наук серьезно анализировали деятельность Организации Объединенных Наций, которая, по нашему мнению, должна была сыграть самую активную роль в установлении нового миропорядка. Не скажу, что уже в то время мы всерьез задумывались над тем, что в конце 90-х годов США будут искать замену ООН в виде «натоцентристской модели», стремясь таким образом сохранить свою превалирующую роль при отходе от двуполосного конфронтационного мира. Но уже в те времена, еще до отхода от глобальной конфронтации, мы в ИМЭМО и других институтах международного профиля просматривали варианты преобразований в ООН, которые позволили бы адаптировать эту организацию к реальностям будущего.

Основной фигурой в этих исследованиях был мой друг профессор Григорий Иосифович Морозов. Один из умнейших людей, с которыми я встречался, он прожил сложную жизнь, на которую тяжелым отпечатком легла его женитьба на дочери Сталина Светлане. Брак закончился трагически: Сталин развел этих любивших друг друга людей, отец Морозова был арестован, Григория Иосифовича лишили возможности видеться с сыном, он был вынужден подрабатывать на жизнь, пописывая статьи чужими именами.

Когда Светлана эмигрировала, а затем с дочкой, родившейся в США, вернулась в Москву, Григорий Иосифович сделал все, что мог, чтобы помочь им войти в нашу жизнь, обустроиться. Возможно, Светлана рассчитывала на восстановление прежних отношений, но они стали к тому времени слишком разными людьми. В последние десять лет к Морозову наконец-то семейное счастье повернулось лицом – у него очаровательная, добрая и любящая его жена Оля, которая, будучи врачом, продлевает ему жизнь.

В 70-х и первой половине 80-х годов, когда у нас были лишь эпизодические контакты с США и другими западными странами по правительственной линии – разве сравнить с сегодняшними периодическими встречами на высшем и высоком уровнях, постоянными телефонными разговорами лидеров, заседаниями министров, регулярными обсуждениями на межпра-

---

<sup>8</sup> Характерны воспоминания, относящиеся к 1946 году, личного врача У. Черчилля лорда Морана, который процитировал своего пациента: «Нам не следует ждать, пока Россия будет готова, – сказал бывший британский премьер. – Я полагаю, пройдет восемь лет, прежде чем она получит эти бомбы. Америка знает, что 52 процента машинной продукции России находится в Москве и может быть уничтожено одной бомбой. Это, возможно, будет означать гибель трех миллионов человек, но для них (американцев) это ничего не значит (он улыбнулся). Они скорее будут озабочены уничтожением исторических зданий вроде Кремля».

вительственных комиссиях? – особое значение приобрели дискуссии по самым злободневным внешнеполитическим вопросам, так сказать, на организованно-общественном уровне. Если по линии Советского комитета защиты мира (я был заместителем, а затем первым заместителем его председателя) мы главным образом пытались разъяснять нашу политику, приобрести друзей и единомышленников за рубежом, апеллируя, как правило, к интеллигенции, деятелям науки, культуры, то появились и другие каналы.

Вначале они решали такие же задачи, что и Советский комитет защиты мира. Но постепенно возник другой акцент – зондирующая возможность договориться по животрепещущим проблемам. Сыграли в этом свою роль связи ИМЭМО со Стратегическим центром одного из крупнейших в США научно-исследовательских институтов – Стэнфордского (SRY). Не обошлось без казусов. Так, на нашей встрече в Вашингтоне (другие проходили и в Москве, и в Калифорнии) представители Пентагона чуть ли не заплодировали профессору (впоследствии он заслуженно был избран действительным членом АН СССР) Револьту Михайловичу Энтову, который «разложил по полочкам» и доказал порочность и абсолютную непригодность методики подсчета советского военного бюджета, предложенную специалистами из Эс-ар-ай. Оказалось, что за эту методику военное ведомство США заплатило институту кругленькую сумму, – как было не порадоваться военным, когда «ученые-шпаки», получив деньги и, наверное, не раз подчеркнув при этом свою значимость, оказались нокаутированными.

Торжествовали свою «маленькую победу» и мы. Сколько сил было потрачено на то, чтобы Энтова выпустили в США, да еще и в первую его поездку за границу! Хорошо, что в КГБ были толковые руководители и во втором главке, например В.К. Бояров, к которому я обратился, и он в конце концов решил вопрос. Помогал нам в этом плане и заместитель начальника Управления КГБ по Москве В.И. Новицкий.

Сопоставление методик подсчетов военных бюджетов подводило к началу сокращения вооружений. Большую роль в этом сыграли два движения – Пагуошское и советско-американские Дартмутские встречи. Первое объединяло ученых различных стран, в основном естественников. Особое место в нем занимали физики, в том числе выдающиеся. Много сил отдали этому движению с нашей стороны академики А.В. Топчиев, М.Д. Миллионщиков, Н.Н. Семенов, М.А. Марков, В.И. Гольданский, В.С. Емельянов. В недрах Пагуошского движения формировались общие идеи о смертельной опасности для всего человечества использования ядерного оружия. Участники движения провели расчеты, осуществили моделирование, доказав, что в случае ядерной войны в мире наступит «ядерная зима» – резкое понижение температуры, при котором нет шансов выжить не только людям, но и всему живому.

Немало сделали участники движения для того, чтобы запретить ядерные испытания в атмосфере, приблизиться к мораторию на испытания ядерного оружия во всех сферах.

Что касается Дартмутских встреч, то они регулярно проводились для того, чтобы обговаривать и сближать подходы двух супердержав по вопросам сокращения вооружений, поисков выхода из различных международных конфликтов, создания условий для экономического сотрудничества. Особую роль в организации таких встреч играли два института – ИМЭМО и ИСКАН с нашей стороны, у американцев – группа политологов, отставных руководящих деятелей из Госдепартамента, Пентагона, администрации, ЦРУ, действующих банкиров, бизнесменов. Долгое время американскую группу возглавлял Дэвид Рокфеллер, с которым у меня сложились теплые отношения. У нас – сначала Н.Н. Иноземцев, а затем Г.А. Арбатов. Активно участвовали в Дартмутских встречах В.В. Журкин, М.А. Мильштейн, Г.И. Морозов. Я вместе с моим партнером Г. Сондерсом – бывшим заместителем госсекретаря США были сопредседателями рабочей группы по конфликтным ситуациям. Нужно сказать, что мы значительно продвинулись в выработке мер нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Естественно, что все разработки обе стороны докладывали на самый «верх».

Встречи происходили и у нас, и в Штатах. Появлялась столь необходимая и непросто достигаемая по тем временам человеческая общность. Так, во время проведения встречи в Тбилиси в 1975 году родилась идея пригласить американцев и наших в грузинскую семью. Я предложил пойти на ужин к тете моей жены Лауры Васильевны – Надежде Васильевне Харадзе. Профессор консерватории, в прошлом примадонна Тбилисского оперного театра, она жила, как настоящие грузинские интеллигенты, довольно скромно, поэтому одолжила у соседей сервиз, и в результате весь дом, конечно, знал, что в гости к ней приедет сам Рокфеллер. Кстати, там были и чета Скотт, который, будучи сенатором, выступил с инициативой импичмента президенту Никсону, и бывший представитель США в ООН Чарльз Йост, и главный редактор журнала «Тайм» Дановен. Спросили разрешения у Шеварднадзе, который был первым секретарем ЦК компартии Грузии, – в те времена это был далеко не жест вежливости – и, получив его согласие, двинулись в гости.

Квартира Надежды Васильевны на четвертом этаже, лифта в доме не было, стены подъезда городские власти не успели к нашему приезду побелить и нашли «оригинальный» выход, вывернув электрические лампочки. Мы поднимались во тьме, но подсвет был на каждом этаже – совсем как в итальянских кинокартинах, нас ждала одинаковая сцена: открывались двери каждой квартиры и нас молча рассматривало все ее население – от мала до велика.

Вечер удался. Прекрасный грузинский стол, пели русские, грузинские и американские песни. Д. Рокфеллер отложил вылет своего самолета и ушел вместе со всеми в три часа утра, после того как помог хозяйке вымыть посуду. Позже он мне много раз говорил, что этот вечер запомнился ему надолго, хоть вначале недооценил искренность хозяев и, может быть, считал все очередной «потемкинской деревней». Он подошел к портрету Хемингуэя, висевшему на стене над школьным столиком моего племянника Сандрика, и, отодвинув портрет, убедился, что стена под ним выцвела – значит, не повесили к его приходу.

В Тбилиси Рокфеллер пользовался особой популярностью. Тэд Кеннеди, который одновременно с нашей группой был в столице Грузии, жаловался, что стоило ему появиться на улице, как вокруг кричали: «Привет Рокфеллеру!»

Дэвид Рокфеллер старался много сделать для развития отношений между нашими странами. Этот незаурядный и обаятельный человек пригласил нашу группу, в том числе меня с женой, во время одной из поездок в США в свой родовой дом, непринужденная, теплая обстановка которого способствовала продвижению к договоренности по самым сложным международным вопросам. Кое-что в этом отношении удавалось, так была создана своеобразная «лаборатория» для анализа проблем, часть из которых в дальнейшем нашли решение на официальном уровне.

Большой смысл приобрели встречи (организатор с нашей стороны ИМЭМО) с японским Советом по вопросам безопасности («Ампокен»). В первой половине 70-х годов по предложению бессменного инициатора таких встреч Суэцугу мы с Журкиным были в Токио и договорились о периодичности, составе группы и содержании диалога. Активно помимо Суэцугу в нем участвовали с японской стороны профессора Иноки, Саэки и многие другие, пользовавшиеся большим авторитетом в стране, но, может быть, еще важнее – влиятельнейшие фигуры (как и весь «Ампокен» в целом) в правящей Либерально-демократической партии.

Вначале такие ежегодные круглые столы напоминали скорее разговор глухих. Каждая сторона высказывалась о важности развития отношений между СССР и Японией, но в то же время наши японские коллеги не переставая твердили, что это невозможно без решения вопроса о северных территориях, а мы с не меньшим упорством отвечали, что такой проблемы не существует.

Но постепенно «лед трогался». Сказывалось, несомненно, и уважительное отношение друг к другу. Я, например, никогда не забуду того, как Суэцугу, узнав, что я потерял – это было в 1981 году – сына, всю ночь каллиграфически выводил иероглифы древнеяпонского изрече-



ния и подарил мне эту запись, смысл которой заключался в необходимости смиренно переносить все невзгоды, думая о Вечном. Конечно, японская мудрость не могла даже приглушить страшную боль от неожиданной смерти 27-летнего сына, но я высоко оценил и ценю по сегодняшнему дню этот порыв души японского коллеги.

Мне представляется, что именно наши встречи заложили основу продвижению в отношениях между двумя странами. Ведь дело не ограничивалось академическими по своему характеру презентациями их участников. Суэцугу делал все, чтобы вывести меня и других на самых крупных политических руководителей Японии. Одним из них был бывший премьер-министр, влиятельный политик Накасонэ. Встреча с ним – она была первой, но далеко не последней – проходила в старинном японском ресторане, приспособленном для иностранных посетителей. Туфли, естественно, снимали все при входе, сидели за низеньким столом вроде как на полу в креслах без ножек. Однако под столом было сделано углубление, куда опустили ноги и чувствовали себя комфортно.

– Господин премьер (обычно во всех странах так продолжают обращаться к «бывшим»), – сказал я, – давайте будем реалистами. Настрой вашего общественного мнения не позволяет вам отказаться от цели обрести суверенитет над островами. Не можем и мы отказаться от своего суверенитета над ними – никто в нашей стране этого тоже не поймет. Что делать в таких условиях?

Мы стоим перед дилеммой: или заморозить связи между двумя странами на долгий-долгий период, что противоречит и нашим и вашим интересам, или, отойдя от крайностей – мы в своем непризнании существования территориальной проблемы (как же нет проблемы, если они претендуют на острова, а мы не принимаем их претензий), а японцы в требовании передачи островов в качестве обязательного условия развития двусторонних связей, – начнем шаг за шагом взаимодействовать, особенно в экономической области. Это постепенно укрепит доверие и создаст основу для решения самых трудных вопросов.

К немалому удивлению, Накасонэ с такой логикой сразу согласился. Позже он разделил и вынашиваемую нами идею совместной хозяйственной деятельности на островах.

Накасонэ выдающийся политик. Я думаю, что равных ему нет в современной Японии. Может быть, именно поэтому мы и продирались без него (несмотря на несомненные успехи в середине и в конце 90-х годов) сквозь «дебри» наших отношений.

В немалой степени это происходило еще и потому, что в Японии очень трудно рассчитывать на конфиденциальность переговоров, особенно с представителями МИДа. Все тут же попадает в прессу. И что особенно неприятно, японская пресса очень вольготно обращается с такой информацией, зачастую переиначивая ее и даже придавая ей совершенно противоположный смысл. В последнее время, возможно, этого стало меньше, но тогда, когда диалог шел по линии «Ампокен», Суэцугу и другие японские участники, бывало, негодовали и извинялись за такие «казусы».

Так было, например, когда, по просьбе Суэцугу, я, находясь в Токио, в конце декабря 1985 года встретился с директором департамента Европы и Океании МИДа Японии Нисиямой. Во время непринужденной беседы за ланчем спросил – меня это действительно интересовало, – почему японское правительство упоминает только о заявлении Танаки и Брежнева в 1973 году. Что стоит за этим? Этот вопрос был весьма своеобразно интерпретирован в японских газетах. «Асахи», «Санкэй», «Иомиури» 27 и 28 декабря на первых полосах со ссылкой на японский МИД приписали мне призыв вернуться к совместной японо-советской декларации 1956 года. Тут же был сделан вывод, что СССР предлагает урегулировать «территориальный вопрос», передав Японии два острова – Хабомаи и Шикотан (как известно, в названном заявлении с большими оговорками такая возможность не исключалась, но в дальнейшем мы от этой позиции отошли). Этот вывод, как следовало из «комментариев МИДа», приводимых

в газетах, был сделан для того, чтобы не согласиться на «частичное решение» и возобновить требование о «возвращении» всех четырех островов.

В нашем посольстве подтвердили мою мысль, что вся эта дезинформация была затеяна ради того, чтобы показать твердую позицию МИДа и воспрепятствовать расколу японского общественного мнения – там просчитывали варианты и не исключали того, что в Москве может появиться идея возврата к заявлению 1956 года, кстати единственному из всех советско-японских документов к тому времени ратифицированному парламентом Японии.

Просматривая свои записи контактов с японскими коллегами тех лет, я и сейчас убежден в том, что единственное решение – совместная хозяйственная деятельность на островах, которая постепенно сгладит прямую постановку вопроса о суверенитете. Этому будет способствовать, конечно, давно перезревшее подписание договора между двумя странами.

Переводил наши беседы и переговоры с японцами по линии «Ампокен» прекрасный специалист, свободно владеющий русским, японским и корейским, Рю Хаку, или, как мы его называли, Юрий Михайлович. Я был дружен с ним. По его просьбе взял его с собой сначала из ИМЭМО в Институт востоковедения, а затем снова в ИМЭМО. Рю Хаку прошел удивительную жизнь. Был солдатом в японской армии. Попал к нам в плен. Остался в Советском Союзе. Женился на русской. Защитил диссертацию. Во время одной из первых поездок в Японию он обратился ко мне с ошеломляющей просьбой разрешить ему позвонить в Южную Корею и поговорить с матерью, которая уже тридцать лет не знала, что он живой. Представляю счастье матери, услышавшей голос сына, которого считала давно погибшим. Об этом телефонном разговоре, естественно, мы в Москве не распространялись – была середина 70-х.

Потеряв жену, Рю уехал в Сеул, где снова женился, и опять на русской, преподававшей «по обмену» язык в местном университете. Уже в 90-х он переводил мою беседу с южнокорейским президентом, став гражданином Южной Кореи, но навсегда оставшись нашим другом.

Все большему сближению ИМЭМО с практической деятельностью способствовало то, что мы начали развивать абсолютно новое направление исследовательской работы с прямым выходом на политику – ситуационные анализы. Я возглавил разработку методики «мозговой атаки». Особую роль здесь сыграли В.И. Любченко и В.И. Гантман. Методика включала целый комплекс: подбор «совместимых» экспертов – ученых и практиков, выступающих от собственного имени; сценарий обсуждения, состоящий из ряда взаимосвязанных блоков; «домашние задания» экспертам; правила дискуссии; виды формализации; подготовка документа «на выход».

Обычно ситанализ проводился в течение всего дня; помимо выступавшего, по заранее определенному вопросу имели право в течение нескольких минут высказаться только те, кто были с ним не согласны. Три момента приобретали особое значение: подготовка сценария, что могло быть осуществлено только профессионалами, глубоко разбирающимися в теме обсуждения (при этом имело большое значение определение системы «переменных» и их иерархическое расположение), само «дирижирование» при проведении ситанализа и подготовка документа с выводами.

Мне довелось руководить большинством таких обсуждений. Назову лишь несколько результатов: мы спрогнозировали бомбардировки американской авиацией Камбоджи во время вьетнамской войны за четыре месяца до их начала; после смерти Насера – поворот Садата в сторону Запада и отход от тесных отношений с СССР; наконец, после победы «исламской революции» в Иране – неизбежность войны между этой страной и Ираком, она началась через десять месяцев после проведения ситуационного анализа. Этот список можно было продолжить. Не последнее место в нем заняли сбывшиеся прогнозы экономических результатов энергетического кризиса, начало которому положил последовавший за войной в 1973 году на Ближнем Востоке резкий подъем цен на нефть.

За разработку и осуществление ситуационных анализов группа ученых под моим руководством получила в 1980 году Государственную премию СССР. Проходили мы вместе с оборонщиками по закрытому списку. Когда каждому из нас торжественно вручали значки лауреатов и дипломы, мы удивились тому, что в зале было не меньше награжденных, чем тех, которые становились лауреатами по открытому списку. Вручавшие награды – секретарь ЦК, заместитель председателя Совмина и заведующий оборонным отделом ЦК – отреагировали без тени юмора на мой вопрос, следует ли значок лауреата носить с обратной стороны лацкана пиджака. «Вы можете носить его открыто», – последовал ответ.

## **Отказ от догм в контактах с США**

«Новое политическое мышление» в СССР связывают в основном с «эрой Горбачева». Действительно, в это время было сделано много. Разрабатывались эти новые подходы на государственной даче в Лидзаве (Абхазия) в 1987 году. Главным автором был Александр Николаевич Яковлев.

Что действительно нового было предложено к осмыслению? Прежде всего идея о взаимозависимости двух противоположных систем и сохраняющемся при этом единстве мира. Такое единство рассматривалось в двух плоскостях: с точки зрения научнотехнической революции, охватывающей в той или иной степени весь мир, и общечеловеческих ценностей и интересов, выражающихся в стремлении всех избежать термоядерной войны. Проблема выживания теперь справедливо оценивалась как проблема выживания всей человеческой цивилизации.

Вместе с тем единство мира интерпретировалось как часть общей формулы: единство и борьба противоположностей. Акцент впервые стал делаться на первой части этой формулы, а второй давалось ограниченное толкование, исключающее ядерное столкновение. Это уже было большим достижением, но, как представляется, гораздо устойчивее, органичнее и более последовательно выглядел бы вывод о единстве мира, если бы он базировался на признании конвергенции. Но этого тогда не сделали.

Новые подходы к международным делам проявились прежде всего в решении задач безопасности СССР. При сохранении оборонного потенциала страны на первый план были выдвинуты политические средства обеспечения безопасности нашего государства. Именно в это время было осознано – и не просто осознано, а легло в основу политики, – что при накоплении такого количества и такого качества средств массового поражения в случае термоядерной войны не может быть победителя.

В период после 1985 года мы пришли к важнейшему выводу: военные меры сдерживания – равновесие страха – ненадежны, особенно в условиях «подъема паритета» с вовлечением в сдерживание новых сфер и средств: космоса, «экзотического оружия». Не исключено, что в таких условиях принятие важнейших военных решений становится прерогативой техники.

Именно этот вывод подтолкнул к идее сохранения паритета, но на возможно более низком уровне.

Известно, что с 1979 года не было советско-американских встреч в верхах, а М.С. Горбачев встречался с президентом Р. Рейганом пять раз. Мне довелось в составе группы экспертов находиться в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, был в этой группе и в Москве. Видел, можно сказать, с близкого расстояния, как трудно начинался диалог и каких усилий с советской стороны стоило отвести мир от опаснейшей черты.

В Женеву президент Рейган приехал со словами: сначала добиться доверия через решение проблем защиты прав человека, урегулирование региональных конфликтов и лишь затем приступить к сокращению вооружений. В конце концов после острой полемики согласились с тем, чтобы идти по всем направлениям одновременно. Но это, по сути, были лишь наметки на будущее.

В Женеве по-настоящему не были оценены американцами некоторые «домашние заготовки» советской делегации. Горбачев дал понять, что целью СССР является непрерывность движения к сокращению вооружений. При этом мы отбрасывали ту формулу, которой пользовались в прошлом, – «или все, или ничего». В такой постановке не было учтено реально существующее на Западе убеждение, что без сохранения какого-то количества ядерных боеголовок у Советского Союза и Соединенных Штатов не обойтись в обозримом будущем – с учетом и накопившегося недоверия между СССР и США, и отсутствия гарантии нераспространения ядерного оружия, и даже возможности овладения им террористическими группами. Бывший министр обороны США Макнамара называл число таких «гарантирующих» боеголовок – 400, то есть на порядок меньше имевшихся на вооружении каждой из двух стран. У нас некоторые эксперты спорили с такими доводами, но в любом случае надо было считаться с распространенными на Западе взглядами.

Вообще нужно сказать, что мы впервые начали соизмерять свои внешнеполитические инициативы с общественным мнением на Западе – не отдельной его части, близкой нам по идеологическим убеждениям, а с господствующими, доминирующими в нем представлениями, в том числе и нелицеприятными. Еще одна внешнеполитическая догма, от которой мы отказывались, заключалась в том, что общественное мнение на Западе, «где у власти находятся представители монополистического капитала», не играет сколько-нибудь важной роли в выработке решений. Однозначно уверовав в это, мы в прошлом как-то не задавались вопросом: а почему в таком случае руководящие круги на Западе тратят так много энергии и средств, чтобы создавать общественное мнение в поддержку своей политики?

Наш новый подход с учетом общественного мнения проявился – что особенно важно – в отношении проблем контроля. Раньше мы соглашались на контроль за процессом сокращения вооружений только с помощью национальных средств. Помню встречу Горбачева с экспертами в Женеве. Нас неожиданно пригласили в «защищенный кабинет»<sup>9</sup>, где, помимо Горбачева, присутствовали Шеварднадзе, первый заместитель министра иностранных дел Корниенко и другие. И должен сказать, для нас, людей, профессионально занимающихся международными проблемами, но в общем «детей своего времени», довольно неожиданно прозвучали слова: нет, очевидно, смысла упорно держаться за прежнюю позицию по контролю. Дело даже не только в том, что национальные средства, как считают на Западе, не при всех случаях надежны, а в том, что своим отказом от других средств мы подыгрываем тем, кто говорит, будто наше общество закрытое, результаты соглашений непроверяемы и поэтому, дескать, с нами не стоит договариваться.

Известно, насколько мы выиграли в общественном мнении, как только приняли новую философию контроля: если подписываем соответствующее соглашение, то готовы на самый что ни на есть жесткий контроль, в том числе международный или инспекцию на месте, включая открытие лабораторий.

Услышав эти слова Горбачева, присутствовавший в «защищенном кабинете» академик Е.П. Велихов тут же спросил, относится ли все это к нашим оппонентам. Здесь мы все были единодушны – никто не собирался открываться в одностороннем порядке. К сожалению, время показало, что обе стороны сохранили стремление уж во всяком случае не открывать своих лабораторий. Не знаю, как для американцев, но для наших разработчиков – в этом я твердо уверен, общаясь с ними, – такое «затворничество» во многом было и остается продиктованным настойчивым стремлением их зарубежных коллег в целом ряде случаев прибегать к двойному стандарту: «Мы хотим знать, к чему готовитесь вы, что у вас делается, но это отнюдь не означает нашу готовность пустить вас к себе на «кухню».

<sup>9</sup> «Защищенный кабинет» – специально оборудованное помещение против прослушивания.

Крайне неожиданно для западных политиков мы не исключали обсуждение вопроса о правах человека, но тоже на «обоюдоострой» основе. Это дало нам возможность превратиться из «подсудимого» в этой области, в чем не без успеха многие уверяли мировое общественное мнение, в равноправного партнера, обсуждающего один из самых животрепещущих вопросов современности. И не просто обсуждающего, но и серьезно озабоченного необходимостью найти соответствующие решения.

В общем, накапливался позитивный материал для перелома в лучшую сторону в советско-американских отношениях. Так мы подошли к октябрю 1986 года, когда состоялась встреча на высшем уровне в столице Исландии Рейкьявике. Могу засвидетельствовать, что это была уже совсем иная атмосфера: широкий диапазон обсуждаемых вопросов, интенсивные переговоры, во время которых не исключались компромиссы. Впервые Горбачев пошел на то, чтобы несколько «разбавить» мидовцев непосредственно в переговорных рабочих группах. Этому не сопротивлялся, во всяком случае в открытую, Шеварднадзе – наверное, потому, что сам еще полностью не контролировал свой аппарат, но в дальнейшем престиж МИДа для него играл подчас самодовлеющую роль.

Я с советской стороны возглавлял подгруппу по конфликтным ситуациям. Моим партнером с американской стороны была заместитель госсекретаря Розалин Риджуэй – женщина с сильным характером и прекрасно подготовленная в профессиональном плане. И было вдвойне важно, что мы пришли к взаимопониманию по целому ряду проблем, согласовали многие формулировки совместного документа. Правда, на это понадобилось почти тридцать шесть часов непрерывной работы. Но все в конце концов зависело от того, договорятся ли в основной – разоруженческой группе. Не договорились, хотя были близки к этому. Поэтому не был подписан и наш документ.

Горбачев очень стремился к результативности встречи. Когда он вышел провожать Рейгана, то даже при открытой дверце лимузина президента США предложил ему вернуться и подписать соглашение о сокращении вооружений. Рейган не проявил готовности к этому.

Но тем не менее сближение сторон продолжалось, чему в немалой степени способствовало то, что мы впервые стали признавать свои ошибки. Одна из них, очевидно, заключалась в размещении в Европе наших ракет средней дальности (по американской маркировке, СС-20). США в ответ решили размещать в Западной Европе «Першинги-2» с подлетным временем до Москвы 6–8 минут. Если наши СС-20 не могли рассматриваться для США как стратегическое оружие, так как не достигали их территории, то «Першинги-2» именно таковым для СССР и стали. Специалисты-ученые, среди которых были люди моего поколения, например О.Н. Быков, и молодые – А.Г. Арбатов, С.А. Караганов и другие, писали об этом, резко критикуя тех, кто подсчитывал чисто арифметически и выражал свое неудовлетворение, что мы уничтожаем боеголовок больше, нежели американцы по договору, подписанному в Вашингтоне в 1987 году, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В этом еще раз проявился наш устоявшийся менталитет. Значительная, если не большая часть специалистов, занимавшихся военно-политическими вопросами, главным образом изыскивала аргументы в поддержку принимаемых решений на высшем уровне в СССР – некоторые это делали более рьяно, другие менее. Конечно, далеко не все такие внешнеполитические решения были со знаком «минус» или ущербными по своей сути. Многие из них не могли не учитывать шаги, которые делались или предполагались с другой стороны. Но главное в том, что процесс предварительного осмысления перед принятием решения с привлечением специалистов со стороны, а не просто сотрудников аппарата, да и то лишь в лучшем случае тех, кто профессионально знал проблему, как правило, был довольно редким.

В этой связи особое значение имело решение в 1980 году о вводе советских войск в Афганистан. Вывод наших солдат из этой страны был поддержан преобладающим большинством населения СССР. Может быть, лишь небольшая горстка людей сетовала по поводу того, что

мы «бросаем своих друзей на произвол судьбы». Этот мотив, как мне кажется, имел право на существование, но только в том плане, что следовало бы больше сделать для укрепления позиций группы, возглавляемой Наджибуллой, которая имела потенциал, чтобы в союзе с другими оставаться одной из влиятельных сил в стране. Может быть, это предотвратило бы трагическое развитие событий в Афганистане, погруженном в многолетнюю перманентную войну. Но тогда в Москве все сосредоточилось на главном для нас – исправлении исторической ошибки, стоившей жизни и здоровья многим тысячам наших ребят.

Так уж ли все сразу прозрели, или решение о вводе «ограниченного военного контингента в Афганистан» с самого начала резко осуждалось внутрисистемными диссидентами? Ни то и ни другое. Нужно сказать, что журналисты, ученые (к их числу принадлежал и автор этих строк), поставленные перед фактом ввода войск, не выступали публично против этого, что не относится к небольшому числу закрытых обсуждений, об одном из которых пишу ниже. Руководствовались главным образом устоявшейся привычкой безоговорочно поддерживать все принятые наверху решения. Сказывался и привычный для того времени образ мышления, сформировавшийся в условиях жесткой конфронтации с Соединенными Штатами, осложнением отношений с Китаем.

Это все было характерно для реакции на ввод войск. И я не знаю исключений, несмотря на ретроспективные «пассажи» некоторых авторов, утверждавших, что с самого начала боролись против направления наших ребят в Афганистан. Такую борьбу – это нужно признать – вели те, кто порвал с советской системой, а не те, кто ощущал себя ее частью. Но реакция на афганские события все-таки стала меняться даже среди «аппаратчиков», когда «временная мера пребывания ограниченного контингента» растягивалась на годы, да к тому же привела к негативным последствиям. Незабываем героический подвиг наших ребят, сражавшихся в Афганистане. Но это не должно уводить от трезвого анализа решения о вводе войск, и того, как они там застряли на долгое-долгое время, и деятельности наших многочисленных советников, подчас далеких от понимания реальной обстановки в этой стране.

Признавая все это, вместе с тем нельзя закрывать глаза на действия Соединенных Штатов и их союзников, направленные на изоляцию СССР, создание для нас труднейших ситуаций в различных регионах мира. Поэтому иногда даже американские оппоненты – я имею в виду, конечно, наиболее объективных и, если хотите, интеллигентных из них – удивляются, когда некоторые наши участники многочисленных встреч за круглым столом, дискуссий на симпозиумах, семинарах так сосредоточенно посыпают голову пеплом, что забывают об оценке действий противоположной стороны. Позже, работая во внешней разведке, я знакомился с тем, что делалось по линии спецслужб США для «удержания» нас в Афганистане. Так мы знали и о поставках наисовременнейшего оружия, «стингеров», афганским моджахедам для нанесения максимального урона советским вооруженным силам в Афганистане. Такие уж были «правила поведения» во время холодной войны.

Кстати, скорее не по инерции, а в ведомственных или даже «общеглобальных» интересах американская поддержка отдельных групп в Афганистане продолжалась и после вывода наших войск. Когда Кабул захватили и установили контроль над большей частью территории Афганистана талибаны, или талибы (мы хорошо знали, что это движение создавалось пакистанскими военными и спецслужбами, да и американцы, особенно на первых порах, не остались безучастными), я говорил госсекретарю США Мадлен Олбрайт: если вы хотите мира и стабильности в Афганистане, то достичь этого можно лишь на коалиционной основе. Одна какая-то сила, этническая или политическая, а талибаны – только пуштуны, не сможет контролировать ситуацию во всей стране. Думаю, что Вашингтон убедился в этом, и не только в этом, – Афганистан превратился в место подготовки террористических групп, протягивающих свои щупальца в другие страны и даже на другие континенты.

Думаю, что не все пакистанцы были вдохновлены деятельностью «Талибана». Во всяком случае, в середине 90-х годов премьер-министр Бхутто в разговоре со мной сетовала на то, что трудно, если вообще возможно, «загнать назад джинна, вылезшего из бутылки».

Но вернемся к концу 80-х. Когда в Белый дом пришел новый президент, наши надежды на то, что Буш в гораздо меньшей степени, чем Рейган, «идеалист» и в гораздо большей «прагматик», в целом оправдались. Немалое значение имел и тот факт, что за спиной Буша уже был накопленный в результате обоюдных советско-американских усилий потенциал стабилизации международной обстановки. Прагматик Буш, как представляется, оказался больше, чем Рейган, восприимчивым к процессу деидеологизации межгосударственных отношений, несколько отошел от типичных для американских политиков представлений: если мы, дескать, выходим в своих внешнеполитических акциях за советско-американские рамки, сосредоточиваемся на улучшении отношений со странами Западной Европы, с Китаем, то мы делаем это для того, чтобы расколоть НАТО или «разыграть» против США какую-нибудь очередную «карту».

### **Индийская и китайская «карты»?**

Между тем накануне прихода к власти президента Буша состоялся визит М.С. Горбачева в Индию, а после – в Китай. Оба визита имели первостепенное значение.

К этому времени в практику поездок главы государства за рубеж стала внедряться новая форма подготовки визитов: за несколько дней до их начала в страну направлялась группа экспертов, состоявшая из ученых, практиков-международников. Участники группы встречались с коллегами, давали интервью, выступали перед серьезными аудиториями. Все это создавало отличную «пищу» для «свежего» восприятия обстановки и ложилось в основу тех рекомендаций, которые высказывались Горбачеву. Все начиналось с мимолетных реплик еще на аэродроме, где по прибытии он, здороваясь с нами, часто задавал вопросы, а затем все мы – а я принимал участие практически в каждой из таких экспертных групп – собирались в посольстве и в присутствии главы и членов делегации делились своими наблюдениями и соображениями.

Такая «подзарядка» до начала переговоров, очевидно, была небесполезной. Нужно сказать, что в практику Горбачева плотно вошел обмен мнениями с экспертами и в ходе переговоров, а некоторых из нас он включал в группу, сопровождавшую его при встречах с руководителями посещаемой страны.

Большое впечатление произвела на нас Индия. Естественно, поразили и древнейшие памятники культуры, зодчества, масштабы страны. Но, пожалуй, главное, что для некоторых членов советской делегации, ранее незнакомых с Индией, было полной неожиданностью, – это высокий уровень научно-технического прогресса. В условиях, благоприятствующих политическому сближению, развитию многосторонних экономических связей СССР с Индией, обоюдной заинтересованности в военно-техническом сотрудничестве, это создавало абсолютно новую перспективу взаимодействия двух стран. Об этом мы говорили в резиденции Горбачева в посольстве, но без наших дипломатов, работающих на месте.

На встречу мы ехали в машине, за рулем которой сидел советник нашего посольства. Разговорились. Он – я думаю, что это не было характерным для нашего посольства в целом – очень неуклюже высказался в адрес индийцев. Я резко прервал его: «Да как вы можете здесь работать, если так неуважительно говорите о людях этой страны?» Он что-то вяло промямлил в ответ. Когда пошел разговор в присутствии Горбачева и Шеварднадзе о перспективах наших взаимоотношений с Индией, я сказал, что для этого здесь в основном должны находиться другие люди. Меня поддержали, напоминая на то, что представители СССР в Индии должны по-настоящему понимать стратегическую ценность наших отношений с этой страной. Я рассказываю об этом так подробно, потому что произошедший разговор чуть не повлиял на мою судьбу. Но об этом потом.

Визит в Китай был не менее важен. Горбачев с «сопровождающими лицами», как они назывались во всех официальных документах, прибыл туда в то время, когда КНР была на распутье. С одной стороны, под патронажем Дэн Сяопина начались экономические преобразования – основательные, переводящие из ресурсного потенциала в реальность огромные возможности этого великого народа. С другой – китайское руководство было максимально заинтересовано в сохранении политической надстройки, в том числе партии, способной обеспечить стабильность и активно руководить преобразованиями в экономике. Конечно, в какой-то степени это создавало своеобразное раздвоение: определенная и ощутимая демократизация в экономической сфере не подкреплялась сразу столь же действенной демократизацией в политической области.

Я не берусь судить сегодня о том, была ли заложена «жизетская правота» в таком дисбалансе, продиктованная, кроме прочего, учетом исторического опыта и традиционной специфики Китая. Но такая двойственность сложилась и по отношению к визиту Горбачева. Его принимали как лидера обновления социализма, вставшего на путь, ведущий к рыночным отношениям, к новым нормам, которые могут, как считали тогда мы, да и в Китае, наконец-то показать преимущества социалистического способа производства. В то же время китайское руководство опасалось, как бы этот визит не «раскачал» страну, не подпитал ту часть населения, главным образом интеллигенцию и особенно студентов, которых явно вдохновлял советский пример внедрения гласности.

Студенты обратились к Горбачеву с просьбой выступить перед ними на митинге. Мы – я был среди самых активных в этом отношении – категорически не советовали ему делать этого. И может быть, оказались правы.

При любых обстоятельствах, выступи Горбачев перед студентами, навряд ли оказалась бы столь дружественной и плодотворной встреча с Дэн Сяопином, на которой я присутствовал. Дэн всячески демонстрировал свое уважение к СССР, подчеркивал громадное значение для Китая оказанной ему в прошлом советской помощи и поддержки. Он говорил о чрезвычайной важности не только для наших двух стран, но для всего мира в целом развития китайско-советского сотрудничества.

Дэн сидел в большом кресле рядом с восседавшим в таком же большом кресле Горбачевым. Обращался к нему по-дружески, как мне показалось, демонстрируя свое уважительное отношение. Горбачев тоже был максимально дружелюбен. Нашел формулу, которая, по его словам, показывает наши различия, но не разделяет СССР и КНР: «Мы начали перестраиваться с политики, а вы с экономики, но придем к одним результатам». Дэн в ответ молча кивал.

Даже по этой беседе, длившейся более часа, можно было представить, насколько светлым умом обладал этот уже очень пожилой человек и с каким огромным уважением относились к нему все присутствовавшие.

А «на дворе» бушевали страсти. Студенты демонстрировали на площади Тяньаньмэнь и блокировали «правительственный островок», где на многих гектарах располагались дома руководящего состава Китая и гостевые дачи. «Островок» этот был живописнейшим местом: лужайки, пруды с причудливыми мостиками, деревья и кусты, заботливо пересаженные чуть ли не из всех концов Китая, и прекрасные, построенные в старокитайском стиле, но вполне комфортабельные дома с вышколенной, улыбчивой и доброжелательной прислугой. Когда каждый из нас подъезжал к выделенному ему для проживания дому, обслуживающий персонал – молодые ребята и девушки (на мой вопрос ответили, что их набирают из провинции и они здесь проходят хорошую школу) выстраивались в шеренгу в красивой китайской одежде и в обязательных белых перчатках и все разом кланялись. Это же повторилось при нашем отъезде.

Как-то Михаил Сергеевич пригласил меня прогуляться с ним по территории резиденции. Говорили обо всем, и, конечно, о чрезвычайной важности отношений с КНР. Это выходит



далеко за двусторонние рамки. Сила нашей внешней политики, заметил я, в максимальном охвате различных государств, и особенно в развитии отношений с азиатскими странами. При такой конфигурации нам будет легче иметь дело и с Западом. Горбачев соглашался и неожиданно сказал, что у него связаны со мной некоторые планы.

Визит прошел хорошо, хотя обстановка была нелегкой. Сотрудник посольства Миша Медведев, который впоследствии работал в моих секретариатах и в Министерстве иностранных дел и в правительстве, решил прокатить меня по городу. И как раз в это время разгорелись студенческие демонстрации. Возгласы: «Горби!» – и на русском языке: «Дружба!», «Товарищ!», машину со всех сторон обступила толпа. Мы проехали один километр в течение часа – так трудно было пробиться сквозь людскую массу, несомненно доброжелательную, более того, восторженно-дружескую. Узнавая нас, обращались к нам и по-русски. Было удивительно, как многие молодые, уже не те, которые учились или работали у нас, произносили русские слова, изливая свои чувства.

Результаты визитов в Индию и Китай сказались и в том, что мы переставали рассматривать советско-американские отношения изолированно.

Но означало ли это, что мы разыгрываем так называемые китайскую и индийскую «карты»? Я уже писал, что подобное мнение было широко распространено в США. Оно – просто примитивно, так как исходит из незыблемости «американоцентризма» (все прочее «вращается» вокруг США, и только). Такие суждения примитивны вдвойне, так как не учитывают заинтересованности СССР, а затем России в активном развитии отношений с этими быстро растущими азиатскими гигантами, население которых составляет половину всего человечества. Вместе с тем мы не могли и не можем не учитывать, что диверсификация связей, безусловно, укрепляет нашу роль как великой мировой державы, в том числе и в отношениях с США.

Но главным образом советско-американское будущее зависело – и это стало совершенно ясно – от способности или неспособности нового президента Буша или американского истеблишмента в целом отказаться от разговора с нами с «позиции силы». Не открыто, предъявляя ультимативные требования – мы понимали, что опытный Буш, по-видимому, осознает непродуктивность этого, – а наращивая опережающими темпами вооружения.

Две наибольшие опасности в этом плане виделись в следующем: во-первых, даже при договоренностях о сокращении вооружений – в тенденции на «компенсацию» таких их видов, которые выбывают из арсенала (например, модернизация тактических ракет после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), и, во-вторых, в упорном нежелании вводить даже в сферу переговоров некоторые из вооружений, создающих асимметрию в пользу США. Такой «священной коровой» для Соединенных Штатов является военно-морской флот. Американские политики утверждали, что это диктуется особым положением «сверхморской» державы, которым якобы обладают исключительно США. Даже не споря с этим аргументом, можно было бы по той же логике утверждать, что СССР, будучи «сверхсухопутной» державой, имеет право на сохранение асимметрии в области сухопутных сил. Как известно, мы на этот путь не встали.

## **Превратности судьбы**

Вслед за поездкой в Нью-Дели меня пригласили выступить перед сотрудниками отдела загранкадров ЦК. После выступления заведующий отделом С. Червоненко проявил ко мне особое внимание: он даже проводил меня до лифта, что было не принято в те времена. Его заместитель, с которым у меня сложились хорошие отношения, позвонил мне в институт и сказал: «Вы на меня не ссылайтесь, но уже в принципе решено – Горбачев это одобрил, – вы едете послом в Индию». Я встревожился не на шутку. Я знал, насколько важен пост посла в этой

стране, но дело в том, что уже тогда резко ухудшилось здоровье моей жены, и я понимал, что индийский климат, очевидно, не пойдет ей на пользу. Позвонил А.Н. Яковлеву. Он находился в Завидове.

– Но ты ведь сам говорил, что нужны новые люди в Дели? Ну хорошо, – заключил Яковлев. – Ты позвони обязательно Шеварднадзе, и не откладывай.

Эдуард Амвросиевич в ответ на мои разъяснения причин отказа от «столь заманчивого предложения», как-то сразу потеплев, сказал: «Я не знал, что Лаура Васильевна больна; не волнуйтесь, конечно, не будем настаивать». Так я не стал послом в Индии. А вскоре я был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, затем членом ЦК. Так что индийский «трамплин» не понадобился. Но жену потерял – она скончалась в 1987 году, и кто знает, может быть, индийский климат и был бы не столь уж плохим для ее больного сердца?

Потерю жены я переживал очень тяжело. Она была частью моей жизни. Прожили вместе 36 лет. До сих пор ловлю себя на мысли о том, что она принесла в жертву мне, детям свой разносторонний, незаурядный талант. Широко эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве, сама блестящий пианист, а по образованию инженер-электрохимик, прямолинейная, никогда не кривящая душой, неспособная соглашаться с ложью или лицемерием, в том числе и в официальной политике, интернационалист по своим убеждениям, но в то же время искренне восхищавшаяся Россией и Грузией, очаровательная женщина – именно такой видели мою жену и я, и все те, кто был рядом со мной и с ней.

Публикация в «Новом мире» солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича», а затем «Матренина двора» была огромным событием для всей нашей семьи. Но жена восхищалась ими особенно, по-своему агрессивно, не терпя и не пропуская ни одного критического замечания, которые кое-кем инициировались в то время.

Когда умер Твардовский, то один из моих знакомых, работавших в КГБ, сказал мне, что похороны, несомненно, приобретут политический характер и будут зафиксированы все, кто примет в них участие. Об этом я не рассказал Лауре, зная заранее, что она обязательно пойдет на похороны. И не потому, что была знакома с Твардовским, – нет, но присутствие на проводах в последний путь этого выдающегося человека считала своим долгом. И уверен, что ее ничто не могло остановить. Чувства гражданственности и справедливости были у нее неистребимы, и, что очень важно, она руководствовалась этими чувствами сугубо «для себя», а не демонстрируя их другим, – смотрите, мол, какая я.

Лаура прекрасно писала. У нее был обостренно зоркий взгляд. Она могла достичь определенных высот в творчестве, но посчитала меня главной фигурой в семье. В этом, конечно, заключалось мое счастье, однако, как я понял «с высоты прожитых лет», счастье с эгоистическим оттенком.

Мы любили друг друга, но это не мешало нам нередко спорить до хрипоты. Я всегда знал и ценил ее неспособность приспособливаться. Домой, например, не мог пригласить людей, которых она внутренне заслуженно не принимала. Я знал, что, поступив иначе, мог бы остаться в какой-то момент беседы с ними без «гостеприимной хозяйки», которой срочно вдруг нужно будет куда-то уйти. Вместе с тем хорошо знал и не раз убеждался в том, что она буквально «глотку перегрызет» тому, кто отзовется обо мне дурно. Здесь Лаура становилась бескомпромиссной, даже с близкими подругами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.